

Литературный

ОМСК

1953

49

81-6

Литературный Омск

СБОРНИК
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

1953 00 00

o ✓
✓


✓
4/3



1953

ОМСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

БИБЛИОТЕКА № 34
ОМ. 10 644080
Г. ТЬЕВА 33



Степан Козлов

ИРТЫШ

Иртыш, Иртыш,
могучая река...
Я слышал о тебе
ещё ребёнком.
В степи Орловской
пел про Ермака
у тихой, мелкой Мологды речёнки.
Мне виделись
крутые берега,
медвежьи тропы,
дикие просторы,
я шёл к берлогам,
настигал врага,
шагал по склонам,
поднимался в горы.
И видел я,
как свежестью дыша,
перед набегом
тёмных орд Кучума,

«на диком берегу Иртыша
сидел Ермак, объятый думой».
И вот я здесь.
Гляжу на берег твой,
на блеск воды,
на дальние дубравы,
на тучные поля,
на город мой
и на летящие вдали составы.
Шагают краны.
Слышатся гудки.
Снуют десятитонные машины...
Здесь будет новый
город у реки,
у будущей
красавицы

плотины.

Лучится солнце,
воду серебра.
У пристани
весёлый шум погрузки.
Бьют склянки.
Поднимают якоря.
Легит напев
старинной песни русской.
Звучит в ней гордость
наших ратных дел,
как наши предки
шли и побеждали...
«Ревала буря,
дождь шумел,
и ветры в дебрях бушевали...»
И улыбается
весёлый мальчуган
и смотрит

на седого командира:

— Счастливо плавать,
дядя капитан!..
А песня льётся

радостней и шире...

И долго смотрит будущий моряк,
прикрыв от солнышка
глаза рукою.

как удаляется
буксир «Ермак» —
на баржах груз
для наших новостроек.

МОЙ ГОРОД

Я открыл окно.
Смотрю на город.
Тёплый ветер.
Тысячи огней.
Как ты мне понятен
и как дорог,
город
 светлой юности моей.

Ты прошёл
сквозь огненные годы
и, в боях окрепнув на века,
гордо отстоял свою свободу
от наёмных армий Колчака.
Я смотрю
на памятник, что в сквере,
где могила братская,
 и вновь
радуюсь, горжусь
и твёрдо верю,
что не даром проливалась кровь.
Город мой!
Люблю тебя и знаю,
что в расцвете
силы и мечты,
новыми домами вырастая,
в будущее
 твёрдо смотришь ты.

В ДОРОГЕ

Этим летом в мой родной колхоз
По пути шофёр меня подвёз.

Всю дорогу длился разговор —
Любопытный спрашивал шофёр:
— Значит, вы в «Рассвет»? У вас там мать?
Значит, в отпуск, надо понимать?
Дело неплохое. Что же вы —
Из столицы, что ли, из Москвы?
— Нет, из Омска. Здешний. Сибиряк.
— Хорошо. Выходит, наш земляк?
Мчался «ЗИС», как на пожар, пыля,
Проплывали тучные поля,
Целый час, как шмель, гудел мотор,
И беседу продолжал шофёр:
— Значит, в гости. Это хорошо.
За мамашу вашу рад душой.
Что ж, колхоз, я знаю, — неплохой,
Водоёмы рядом — под рукой,
И земля — не может лучше быть,
Но с колхозом нашим — не сравнить!
Поживёте вот и, как-нибудь,
Приезжайте к нам в «Счастливый путь».
Я скажу вам точно — не секрет —
Девушек прекрасней наших нет:
Все, как на подбор, одна в одну, —
И шофёр лукаво подмигнул.
Потянулись сочные луга,
Огороды, фермы и стога,
Рядом за пригорком новый дом
Выглянул сияющим окном,
И к нему — дороги поворот, —
Девушку мы видим у ворот.
Лихо скрипнув шинами колёс,
Встал наш «ЗИС»,

как будто в землю врос.

Моментально заглушив мотор,
Глаз не сводит с девушки шофёр.
— Ну, спасибо, говорю, всего!..
Но не слышит парень ничего.
— Что же, говорю я, не секрет —
Девушек прекрасней ваших нет?..
Покраснел, смутился паренёк,
Ничего в ответ сказать не смог..
Улыбаясь, я шагал домой
По широкой улице прямой.

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Пусть придут слова, как дня рождение,
Как приносит в жизнь ребёнка мать...
О тебе, родное поколенье,
Хочется от всей души сказать.
Подождите, мысли, не спешите.
Надо всё припомнить — день за днём:
Радости, тревоги — все события,
Всё, чем жили мы и чем живём.
Вот глаза закрою — вижу город
С пеленой тумана по ночам...
Гулкий выстрел слышу я с «Авроры»,
В Смольном ясный голос Ильича.
Да, тех дней во век не смолкнет слава...
Как хозяин, сверстник, смотришь ты
На свою великую державу —
Гордость человеческой мечты.
Вот она с прохладой рек и пашен,
С песнями, с улыбками детей...
Где найдёшь величественней, краше
И привольней Родины моей?
За неё мы жгучею зимою,
В сорок первом памятном году,
Встали насмерть под родной Москвою
И разбили чёрную орду.
И всегда, Отчизна, как награду,
Ощущаем мы тепло твоё...
Днями и ночами Сталинграда
Мы крепили мужество своё.
Всё, что нынче видят наши дети,
Всё, что мы ревниво создаём,
Всё, что утверждает мир на свете —
Воля поколенья моего.
Будет так: придя к шумящим плёсам
На одном из созданных морей,
Обратится девушка с вопросом
К пареньку, что будет рядом с ней:
«Неужели здесь лежали степи
И глаза слепила людям пыль?..»
И расскажет парень, снявши кепи,
Про большую дедовскую быль:
«Сталинградский край... Земля победы...

Край когда-то выжженных полей.
Здесь о нас мечтали наши деды,
Строя это счастье на земле».
А над морем в этот час рассвета
Будут чайки весело кружить...
Разве можно людям на планете
Пройденное нами позабыть?..

Николай Почивалин

ПАРТИЙНЫЙ ГИМН

Есть города, события, люди,
Которых мир не позабудет.

Нам и сейчас уже понятно,
Что, оставаясь молодым,
Он будет жить суров, как клятва,
Бессмертный наш партийный гимн.
Не станет нас, уйдут и дети.
Но будет помнить человек,
Что этим гимном на планете
Был начат новый, лучший, век.
И вижу я, как силой чистой
Опять бушует светлый зал,
Когда, поднявшись, коммунисты
Поют «Интернационал».
И я внимаю, окрылённый,
Полёту этих властных слов:
«Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!»

СТИХИ О МОЁМ ДРУГЕ

Всё хожу под впечатленьем сна.
Знаю — сон,
А кровь стучит в висок.
...Шумная весёлая весна
Заходила в тихий городок.

Далеко я от него живу,
Я давно в нём не был,
А сегодня
Старый дом, шалаш на огороде —
Всё опять предстало наяву.
Комната. Ковёр. Шаги глухи.
Я хожу в мучении жестоком —
Нелегко размашистые строки
Умещать в короткие стихи.
Вдруг стучат.
Сердитый и счастливый,
Я иду поспешно на крыльцо.
Горьковатым духом талой ивы
Обдаёт горячее лицо.
— Вам кого?
И вот вопрос не нужен:
Самый лучший друг передо мной.
— Здравствуй, друже!
— Колька, милый! Колька, ты живой?!..
И обоим не смешно нисколько,
Что, как много лет тому назад,
Снова Кольки мы, и что один из Колек
Стал тяжеловат и лысоват.
Мы кричим и топчемся на месте,
Тискаем, до хруста плечи жмём.
— Ну чего мы, как жених с невестой,
На крылечке прячемся.
Идём!
— Погоди. Ведь я к тебе с вокзала.
Надо город посмотреть бы днём.
Знаешь что — побродим поначалу,
А затем к тебе уж завернём.
Чемодан поставь, да сам-то — следом!
Я врываюсь, торопя родных:
— Мамочка, похлопочи с обедом!
(Мама тоже уже нет в живых).
— Ну, пошли..
И улочки родные,
Расступаясь, пропустить спешат.
Под лучами окна золотые
Вслед нам, удивлённые, глядят.
Бьёт о сердце мягкая волна,
И, волнуя, обступает юность,

Из которой многих нас в июне
На поверку вызвала война.
Мы молчим.
Застенчив и наряден,
Городок наш — на ладони весь.
Вдруг товарищ, на меня не глядя:
— А Маруся здесь?
Я вздыхаю. Сколько довелось
Пережить, снести,
А не забыли:
Двое эту девушку любили.
Третий появился и — увёз...
Друг ни слова — виду не подаст!
Он лишь на мгновение отвернулся.
...Я-то ладно, я простил, Маруся,
Почему его не дождалась?..
Улицы, как близких, узнавая,
Мы подходим к школе.
Вот она —
Каменная, строгая, большая,
Десять лет ей отданы сполна.
Расписания на белых стенах,
Вот звонок, и застилая взор,
Милым гулом третьей перемены
Нам навстречу мчится коридор,
Мчится любопытством детских глаз,
Мчится ветром бантов и косичек!
Вот 10-й «А» висит табличка —
Наш последний, предвоенный класс.
Здравствуй, класс!
На этой самой парте
Он сидел, порывист и горяч, —
Самый скверный в классе математик,
Самый лучший в городе скрипач.
Я — вот здесь.
А там, записки пряча
И лукаво поднимая бровь,
Первою решала все задачи
Нас не полюбившая любовь.
Что ж, вздохни разок, пожалуй, груди!
Нам потом встречались и красивей,
Только жаль, что никакою силой
Юность-торопыгу не вернуть...

Вот мы дома.
Радио играет.
Мама суетится, как всегда.
Прошрое своё перебирая,
Мы листаем в памяти года.
И в глазах опять всё то же:
Школа,
Смятая шпaргaлка в кулаке,
Споры в комитете комсомола,
Лунные дорожки на катке.
С губ легко слетают имена.
Весел друг, и я гляжу влюблённо
На его майорские погоны,
На его лицо и ордена.
Оживая, рядом, в тонкой раме,
Наша фотография висит.
— Слушай, Колька, что же мне наврали,
Будто ты под Киевом убит?
Он хохочет:
— Ну, а вы не верьте.
Мало что, бывает, говорят.
За один лишь только Сталинград
Нам с тобой положено бессмертье!
Да сейчас и помирать обидно:
Дел ещё, дружище, через край!
В общем, хватит этой панихиды,
Тоже мне, хозяин — наливай!
И качнулись искорки вина.
Руку друг мне положил на плечи.
— Ну давай,— за молодость, за встречу!

Тишина.
Тишина такая невозможная,
Будто жизнь из комнаты ушла,
Только сердце редко и тревожно
Бьёт в тяжёлые колокола!..
Я встаю, шагами полночь меряя,
Опрокинуть что-нибудь грозя.
Сны — пустяк! Я в сны давно не верю,
Верю: дружбы позабыть нельзя!
Эта дружба, требуя всё жёстче,
Помогает жить и побеждать,
Строить днём, дышать спокойно ночью,

Малышей растить и вдвое зорче,
Родину свою оберегать!

ВЕЧНО ЖИВОЙ

Ему тесны музеи, залы,
Взойдя на строгий пьедестал,
У Белорусского вокзала
Горький встал.
К ногам цветы бросает лето.
Пройдя сквозь бронзу и гранит,
Неистребимым ясным светом
Зовущий взгляд его горит.
И кажется, когда б не цоколь,
Слегка сутулясь, с посошком,
Большой, порывистый, высокий,
Он встал бы и ушёл пешком.
Вокруг — такой размах, кипенье,
Такой простор,
Такая стать,
Что не ему с его гореньем
Навечно в бронзе устоять!
Пошёл бы, вглядываясь в лица,
Где вновь и вновь помолодев,
Растёт, цветёт, творит столица —
Надежд,
весны,

великих дел!

Она бы бросилась навстречу,
Встречала песней на углах,
Ему, на горьковские плечи,
Прохладой старых лип легла,
Она б вела его, показывая,
Туда, где над громадой лет
Поднялся, слава подвиг разума.
Московский университет!
Он встал бы в Химках у причала,
Смотрел, следил, как холодна,
Послушно паруса качает
Крутая волжская волна.
Он за водой ушёл бы следом

На Волгу, к юности...
И вот,
По глади вод, как белый лебедь,
Его уносит теплоход.
Ладонь к глазам...
Басами властными
Гудки над берегом встают.
И мнится — внуки Павла Власова
На труд, на подвиги идут.
И снова Волга мчится в море,
Уходит, полонивши взор,
В привольном песенном просторе
Сама —

и песня и простор!
Сады в цвету стеною белой.
Опять его ладонь к глазам,
Но как ни смотришь,
Что ни делай —
А Волги нынче не узнать!
Шумят моторы,
Взрывы гулки,
Меня даль,
Сближая ширь,
Взлетают кованые руки
Ещё невиданных машин.
И как рабочий, по привычке,
Страны великой гражданин,
Он встал бы сам у перемычек
Гигантских волжских плотин!
...К ногам цветы бросает лето.
Пройдя сквозь бронзу и гранит,
Неистребимым ясным светом
Зовущий взгляд его горит.
С большими крепкими руками,
С открытой ветру головой,
Он остаётся вместе с нами,
Он с нами трудится — живой!

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Этот день, пожалуй, надо б красным
Отмечать в листках календаря,

Светлое начало сентября —
Праздник детства, юный и прекрасный,
Первые страницы букваря,
Широко распахнутые классы!
Возле школы. — жёлтых листьев ворох,
Паутины серебристый дым.
Улыбаясь, возле шумной школы
Мы с тобой, притихшие, стоим.
В этом чувстве трудно разобраться —
Радостно и грустно.
Это нам,
Узнавая, старые акации
Осыпают золото к ногам.
Кажется, давно ли мы гурьбою
Мчались в школу, за руки держась,
А сегодня вот и мы с тобою
Отвели дочурку в первый класс...
Чу, звонок! По гулким коридорам
Ручеек ликующий бежит.
Пожелаем им дорог просторных —
Малышам,

наследникам,

которым

Будущее всё принадлежит!..
Убеждён, что надо б цветом красным
Отмечать в листках календаря
Этот день — начало сентября —
Праздник детства, светлый и прекрасный,
Широко распахнутые классы,
Первые страницы букваря!

НА ИРТЫШЕ

Гаснут, в волнах качаясь, последние зори.
Я стою у воды,

и Иртыш, не спеша,

Деловито уходит к далёкому морю,
Желтоватой водою о берег шурша.
Желтоватой водою причалов касаясь,
Степенный, медлительный, издалека

Так и катится он, белогривый-красавец.

Через долгие годы, седые века...

Выплыл месяц. Монетки неслышно печатая,

Сыплет ветер на воду серебряный блеск.

Где-то грустную песню заводят девчата,

Где-то в парке негромко играет оркестр.

И опять — тишина.

А душа взбудоражена,

И мне слышатся вновь голоса и гудки —

Этот буйный ликующий шум репортажа

С берегов и далёкой и близкой реки.

Эта правда и вправду на сказку похожа —

На виду у земли,

на глазах у судьбы

То, что было не год, а века невозможным,

Нынче волей людей обратилось в быль!

Он живёт, Волго-Дон, — молодого азарта

И мужаящей зрелости нашей венец,

Под раскаты оркестров, биенье сердец

Распахнувший ворота в великое Завтра!

И желанья взбухают, как крепкие мускулы.

Жизнь зовёт и ведёт.

В эту звёздную тишь

Я клянусь негибаемой силою русского —

Мы придём к тебе скоро, Иртыш!

Это время идёт, ожиданья недолги —

Прозвенит по пескам Приднепровья вода,

Засияют огни гидростанций на Волге,

И тогда мы нагрянем сюда!

Пусть враги ненавидят нас злобно и слепо, —

Власть грядущего отдана нам, молодым!

И поить тебе щедро безводные степи,

Наливая расплавленным солнцем плоды!

Вижу — море Сибирское, звонкие брызги

Под руками весёлых, счастливых внучат.

Это будет! Всё громче шаги коммунизма

Над планетой звучат.

Игорь Листов

ДОРОГА

Снег уже на дорогах растаял —
Так с зимою расправился март.
Проходную прошёл и вступаю
На блестящий и мокрый асфальт.
Он похож на стекло литое.
Пар струится на солнце, клубясь.
А ведь здесь ещё прошлой весною
Пешеходы месили грязь.
Облака бегут вперегонки.
Полной грудью вздыхает земля.
Ветви тонкие, как ручонки,
Запрокинули тополя.
Первогодки... А лет через восемь
Здесь аллея будет густой,
В полдень солнце сквозь ветви бросит
На дорогу узор кружевной.
Мы гордимся заводом нашим.
Спору нет —
 красавец-завод!
Завтра станет он вдвое краше...
Заглянув сквозь годы вперёд,
Заводских корпусов громады
Вижу ясно перед собой. -
Парк вокруг... Шпили, колоннады
Устремились в простор голубой.
А дорога вперёд убегает
И в просторы манит с собой,
И врзается в небо прямая
Серебристо-светлой стрелой.

8905



МУЖЕСТВО

*Посвящается кочегару земснаряда „Онега“
Андрею Анохину.*

День этот близок.
Над розовым садом
Запламенеет восток.
У Новой Каховки плотина-громада
Встанет Днепру поперёк.
Он заклокочет струёй шальною,
Радугой в брызгах горя.
Город, омытый свежей зарёю,
От флагов станет багрян.
Толпы на улицах, на тротуарах...
В турбины пошла вода!
Про подвиг Анохина-кочегара
Песню споют тогда.
В песне воскреснут —

белее снега

Пена на гребне волны,
Одесский причал, земснаряд «Онега»,
Свежий ветер весны.
В путь!.. Работа спорится ловко
И дышится так легко.
«Каховка, Каховка, родная винтовка...»
Взлетает до облаков.
Солёные брызги. Песня крылата.
Днепра берега близки.
Вдруг возглас:
— Отставить, ребята!
Сгорели колосники,
Стали печальными моря вздохи,
И приуныли друзья.
Тут вышел вперёд кочегар Анохин
И молвил:

— Медлить нельзя!

Чтобы быстрее в бетон оделась
Плотина Каховской ГЭС,
Брезентом мокрым прикрыл он тело
И в чёрной топке исчез.
Друзья ощущают, как жжёт их лица
Горячий злой суховей.

Быть может, уже рукавица дымится?
— Скорей, Андрюша, скорей!
Они считают сердец удары
И думают об одном:
— Наверно, коробится от жара
Брезент? Он высох давно.
Наш друг работает, задыхаясь.
Вздохнуть?

Но нечем вздохнуть.
Вдруг вылез из топки Андрей, шатаясь,
И выдохнул:

— Можно в путь!
Руки друзья ему крепко жали
И думали:

— В грозный год
Такие без страха под танк бросались,
Кидались рывком на ДЗОТ.
Вновь песня звучит над морским прибоем,
Над вспенённым морем летит:
«...Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути...»

СКОРЕЕ В ПУТЬ!

После занятий каждый вечер,
В профессию свою влюблён,
Ты, словно с будущим на встречу,
Сюда приходишь на перрон.
Глядишь, как поезда проходят,
Как искры сыплются вразброс.
И знаешь —

где-то на заводе
Твой делают электровоз.
И, может быть, парнишка-токарь
Сдаёт последнюю деталь.
А мачты побегут к востоку,
Как вежи, устремляясь вдаль.
— Недолго ждать! — всё веселее
Гудят стальные провода.
Звонки...
Сигнал зазеленеет...

Пойдут электропоезда.
Ты поведёшь свои составы
На небывалых скоростях.
Уже рублильник кто-то ставит...
И рельсы синие блестят.
Гул лёгкий слышен издалёка.
Скорее в путь,
на полный ход!...
Недолго ждать: всё будет к сроку.
Далёкий друг не подведёт.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

Сосны тянут ветви розоватые,
Им отрадно греться у костра.
Разговор бесхитростный с ребятами
Он ведёт. Притихла детвора.
На груди — звезда и орден Ленина,
На виске — от вражьей пули шрам.
Сколько в танке боевом отмерено
Вёрст по трудным фронтовым путям!
Мир принёс он на броне иссеченной.
Всё. Окончен про войну рассказ.
И в награду смотрят сто доверчивых,
Благодарных и счастливых глаз.
Тлеют угли золотистой грудью,
Летний вечер, как дыханье, чист.
— Расскажите, как теперь вы трудитесь?
— Я теперь, ребята, тракторист.
Тракторист!..
И песня разливается
Над степной раздольной стороной,
Кажется, что тихо рожь качается
За его широкою спиной.
Ветер гонит волны бесконечные,
И колосья радостно шуршат.
Самые заветные, сердечные
Он слова отыщет для ребят.
Хорошо рассветами росистыми
Выезжать на тракторе весной...

— Я ведь также буду трактористом! —
Убеждённо молвит звеньевой.

— И я — тоже!

Рожь заколосится —

Буду думать —

это рожь моя!

— А какая вырастет пшеница

В ваши годы знаете, друзья?

Сказочно высокая, зернистая...

Ей не страшен будет суховей.

Ну, до новой встречи, трактористы

Наших тучных будущих полей!

Яков Горчаков

ВЕСНОЙ

На небосклоне,
Чистом и высоком,
Всё ярче зори
Утренней порой.
И петухи —
Весёлые горнисты —
Трубят зиме
Настойчиво отбой.
Трепещут дали
В дымке синеватой.
Сверкают лужи
В колеях дорог.
И бродит по сугробам
Ноздреватым
Хмельной,
Неугомонный ветерок.
Бегут ручьи,
Звеня скороговоркой.
Разбужена
Кормилица-земля.
И за деревней,
С тёмного пригорка,
Колхозник зорко
Смотрит на поля...

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Частый дождь
Застучал по крышам.

Хлынул —
Тёплый и проливной.
Небо всеми цветами вышив,
Свисла радуга за рекой.
Тополя и дома перевёрнуты
В мутной ряби разлитых луж.
Хорошо в этот миг из комнаты
Под весёлый выбежать душ.
Подставляя под капли звонкие
Головёнок своих ерши,
Мчат по лужам

наперегонки

Босоногие малыши.

Криком,

смехом

Наполнена улица.

Брызги — искрами из-под ног.

Набухает,

бурлит

и кружится

Молодой водяной поток.

На хлеба,

На луга зелёные,

Дождь, ещё сильнее поливай!

Чтобы досыта напоённая

Нам дала земля урожай!

ЗДРАВСТВУИ, ШКОЛА!

Окончен отдых.

Свёрнуты палатки.

Не реет флаг

Над бором, у реки.

На опустевшей

спортплощадке

Не раздаются

Громкие свистки.

Нам вспоминать:

Походы,

реки в пене,

Забав весёлых
Шумный говорок.
Учебный год
Походкою степенной
Любимой школы
Перейдёт порог...
В просторном классе
Запах свежей краски,
А в окна солнце
Плещет яркий свет.
Ведь здесь во всём —
От парты до указки —
Твоих забот, Отчизна,
Виден след.

ЗА РЕКОЮ, У ЛЕСОЧКА

За рекою, у лесочка
Недалёко от села,
Я любимого дружочка
Поздним вечером ждала.
Я грустила и гадала
На ромашке полевой,
Лепестки с неё срывала:
Любит нет ли
 милый мой?
Выходило, что не любит,
К сердцу крепко не прижмёт,
Никогда не приголубит
И своей не назовёт...
Ночь на землю опустилась.
В небе звёздочка зажглась...
Сердце радостно забилося —
Я родного дождалась.
Он сказал мне:
— Добрый вечер,
Виноват, что задержал.
Обнял ласково за плечи
И к груди своей прижал.

С той поры я не гадаю
На ромашке целый год.
Жду дружка и точно знаю:
Не забудет и придёт.

Александр Скворцов

УЛЫБКА БЕЛОЯНИСА

Сжимает тверже греческий повстанец
Винтовку в скорби гневной и великой.
Глядит с газет с улыбкой Белоянис,
Держа в руках душистую гвоздику.
Не верится словам суровым смерти,
Когда перед тобой вот этот

снимок —

Он говорит, он требует: Не верьте!
Пусть будет больше смеха и улыбок.
В сырую полночь, в час

рассвета мгlistый

Цветы несут к его могиле греки...
Вот так и умирают коммунисты,
Чтоб обрести бессмертие навеки.

УЧИТЕЛЬ

Его всё так же мучает одышка,
И у него всё тот же добрый взгляд.
И вновь себя я чувствую мальчишкой,
Который в чём-то очень виноват.
А он басит: — Давно ты не был дома.
И не узнать, таким огромным стал.
Так, значит, будешь скоро агрономом?
А почему ни слова не писал?

И прежнюю суровость слышу в речи.
Мне совесть шепчет: Как же это ты?
Но знаю, рад старик нежданной встрече.
А строгость, — так она от доброты.
И рассказать мне хочется о многом.
О том, что я за этот срок постиг..
Так и стоим, загородив дорогу,
Учитель и недавний ученик.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

У соседей девочка Светлана
Пусть ещё пуглива и мала,
Но она сегодня неустанно
Ходит от стены и до стола.
Этот смелый подвиг совершая,
Девочка как будто говорит:
— Посмотрите, я уже большая, . . .
Преодо мной теперь весь мир открыт.
...Солнца луч упал в окно квартиры,
Осветив Светланино лицо.
Хочется поднять её над миром
И сказать от имени отцов:
Юность света не узнает танков, —
Нам улыбки детства дороги.
Мы глядим, как юная гражданка
Совершает первые шаги.

ТЕБЕ

На меня с фотографии смотришь ты,
И упрёк во взгляде твоём.
Очень хочется мне все лесные цветы
Принести в твой далёкий дом.
И не ради тщеславия или похвал,
Или прочих ненужных слов:
Просто, чтоб ты узнала, как я тосковал
Без тебя среди этих цветов.

РАЗЛУКА

Гудок отправки, а за ним — известно —
Разлука на большой и долгий срок.
И мне в пустом вагоне будет тесно
От всех воспоминаний и тревог.
В мои года не принято печалить
Глаза
И хмурить брови от разлук.
Но сердце не удержишь на причале,
Когда рукой прощально машет друг.
Вот почему и в юности немножко
Бывает — грусти одолеть нельзя...
Войдя в вагон, я встану у окошка
И буду видеть лишь твои глаза.

• • •

Ты идёшь немного горделиво,
Шаловливый смех не сходит с губ.
Есть же кто-то на земле счастливый,
Для кого ты самый лучший друг!
Свет огней, снежинками играя,
Сделал строже все твои черты.
Рад я, что в моём сибирском крае
Вырастают девушки, как ты!

Яков Журавлёв

ТЕЛЕВИЗОР

На комодe — под скатёрткой
Патефон. Пластинки горкой.

— Позволь, Петрович, — заведу?

— Да он пока не на ходу.

— Поломан?

— Нет, не игран он.

Это — электропатефон.

Купил его ещё зимой.

Был в городе. Зашёл в Культторг.

Понравился — привёз домой...

Пусть через год, да будет ток.

(Колхоз ещё не строил ГЭС.

Пока лишь заготовлен лес, —

У речки сложен в штабеля;

Ещё не тронута земля

На берегу под котлован...

Но приняты проект и план!)

— А ты супруге для сюрприза

Не прихватил там телевизор?

— Не видел... Но скажу всерьёз —

И телевизор бы привёз.

...Ответ, как говорится, ясен!

С Петровичем и я согласен:

Будь телевизоры в продаже —

Купил бы, непременно даже.

ВЕЧЕР В ПОЛЕВОМ СТАНЕ

На нарах с час уже — возня:
Заснуть не могут люди, —
Как будто не было им дня
И нового не будет.
— А всё Ванюшка — водовоз, —
Досадует бригада.
— Суёт куда не надо нос.
— Пороть за это надо!
Ванюшка — здесь: как неживой
Лежит под одеялом,
Укрылся плотно с головой,
Молчит, чтоб не попало.
Он понимает — виноват,
Но только ль он виновник?
— Конечно, сам теперь не рад,
Что брался за приёмник.
Не озорничая, включал —
Просили же ведь сами!
Сглупил...
«анод» включил в «накал» —
Ошибся проводами.
Сгорели лампы до одной:
Конец им — неминуемый.
Комплект бы надо запасной
Иметь на всякий случай!
Ванюшка не рискнул на спор,
Стерпел от старших ругань,
Такой ведёт он разговор
С собой, забившись в угол.
— Ведь завтра же об этом дне
Всё будет и в газете, —
Что было важного в стране
И также в целом свете.
Одно — не слышали концерт,
И то не стоит злиться:
Письмо напишем в комитет,
Попросим — повторится...

Поёт на ржавой петле дверь:
Знать, дед Игнат с обхода.
(Ну, хоть отступятся теперь!)

— Как, дед Игнат, погода?
— Погода — так я доложу:
И не ходил бы в хату.
А вы, чего ж, как погляжу,
Не спите всё, ребята?
Весна — она, конечно, сну
Всегда ломает сроки...
Тут бригадир ему: — А ну!
Брось, старый хрыч, намёки!
Уж если чешется язык —
Начни-ка вроде сказки...
Не обижается старик:
— Могу, коли согласны.
И сразу же, без лишних фраз,
Заводит он певуче:
— Что ж, расскажу я вам сейчас
Один из жизни случай.
Назад годков так пятьдесят,
Как приключилось это.
Да, точно: помню, ещё сват
Скончался в то же лето.
Шёл я от кума из гостей
В воскресный день, к исходу.
Иду к деревне — где прямой
И прибавляю ходу.
От хутора на полпути,
Как раз у свёртка к логу,
Решил я ельником пройти,
Чтоб выйти на дорогу.
И только порешил на том,
Свернул с тропинки сдуру,
Глядь — замечаю под кустом
Своей Пегухи шкуру.
А было так, что той зимой
Моя кобылка пала.
Висела шкура в кладовой —
И вдруг её не стало.
И вот — извольте поглядеть —
Нашлась, никак, Пегуха:
Вот хвост — в три волоса, как плеть,
Вот ссадина под брюхом...

— Ну и Пегуха, дед, была,

По всем её приметам! —
Бригадный конюх из угла
Язвительно заметил.
Соседи конюха — сквозь смех:
— По казаку и лошады!
— Таковую и украсть не грех!
— Уход, знать, был хороший!
Рассказчик — словно бы глухой,
Покамест трубкой занят;
Затихли — дальше «случай» свой
Вещает в прежнем плане.

— Беру за хвост — и поволоку.
И вижу тем же разом:
Из ельника мой куманёк
Идёт-бредёт под газом.
Кричит ещё издавека:
«А, вот она, пропажа!
Давай-ка, кум, до кабака —
Пропьём, куме не скажем».
— И верно, — соглашаюсь, — кум!
И так встречаю кума:
— Всегда ценил тебя за ум.
Ай, ловко же придумал!
Хвалю его — не нахваляюсь, —
Не знаю, с чего ради.
Меж тем уж ельником ломлюсь,
А он плетётся сзади.
За хвост, как взялся, волоку
Родную пропастину,
И невдомёк ведь дураку —
Взвалить её на спину.
И — что за чёрт! — вдруг вижу сам:
Чем непролазней чаща,
Так я с Пегухой, значит, там,
Туда меня и тащит.

Здесь, понимая, видно, толк
В «закрученном» рассказе,
Дед выжидающе замолк
На поворотной фразе.
— Ай, спите?
И ему в ответ:

— Нет, дедушка, я слушал.
Совсем обескуражен дед:
— Кто это? Ты, Ванюша?
Чего ж не спишь ещё, сынок?
Спи! подыматься рано.
— Я выплюсь, — просит паренёк, —
Вы доскажите.
— Ладно.
На чём, бишь, я?
А, вспомнил! Да,
Куда же кум девался?
И первым делом — как тогда
В лесу он оказался?
Ведь у него я был в гостях?
Тут стал я протрезвляться
И, как смекнул, как пронял страх, —
Давай скорей чураться.
А он как гикнет в стороне
Да как пустился в хохот!
Мурашки сразу по спине.
Ох, вижу, дело плохо!
— Кто он-то, кум?
— С каких статей?
— Какой ты бестолковый!
Ты что, не слышал про чертей,
Про леших, одним словом?
— Да их же нет!
— Как это нет?
— Пусть — нет, а раньше были.
— И раньше не было их, дед.
— Нет, изредка бродили.
— Да нет же, не было совсем.
— Так что ж — всё вру я, значит?
— Я не сказал ведь так, зачем...
— А как тогда иначе?
— Галлюцинация, видать,
Случилась тогда с вами.
— А это что, позволь узнать,
За нация с усами?
— Галлюцинация — когда...
Расстройство, в общем, мозга.
Ведь вы же выпили тогда...
— Ну, ты об этом брось-ка!

Давай-ка спи.
— Сейчас усну.
А что же вы с Пегухой?
— С Пегухой? Да ведь я сосну
Волок, что было духу!..
Дозвольно, спи. Поутру ты
Воды доставь в бригаду.
Пойду-ка обойду посты, —
Проверить всё же надо...

За дверью — ночь. Луна. Покой.
Тишь на бригадном стане.
А пахнет травкой молодой...
Хороший день настанет!

ВЕСЁЛЫЙ БОР

Когда и кто — в душе поэт —
Назвал тебя Весёлым бором?
Его давно на свете нет,
А ты шумишь над косогором.
Завидую такой судьбе,
Пусть даже он безвестным умер:
Дав имя верное тебе,
Он жив в твоём весёлом шуме.

с. Журавлёвка

СОСЕНКИ

На выгоревшей просеке,
Запущенной с годами,
Молоденькие сосенки
Переплелись ветвями.
И, видимо, — ровесницы:
Все как одна росточком...
Так в школе —
смотришь с лестницы:
А где же в зале дочка?

НИ ПУХА, НИ ПЕРА

Заливные поймы Иртыша:
Озерки, речушки и протоки,
Плёсов зеркала меж камыша,
Заросли укромные осоки...

Я в охоте — не промысловик,
Не могу похвастаться добычей:
Крохотный чирок или кулик —
Мой трофей единственный обычно.

И не потому, что слаб на глаз, —
Бил на приз когда-то из винтовки,
И в боях хватало в самый раз
У меня и воли и сноровки.

Просто я, по склонности своей,
Не одну лишь дичь ищу в охоте.
Хорошо бродить средь зеленой, ---
Отдыхая, думать о работе!

Зная эту хитрость за собой,
Никого никогда при встрече, —
Пусть его ягдташ совсем пустой, —
Не обижу я бахвальной речью.

Дорогой коллега по перу!
Ничего, что ни пера, ни пуха:
Важно то, что завтра поутру
Снова свежесть сил и бодрость духа.

БЕЛЫЕ ЛИЛИИ

З. Г.

Вода в пруду — как в блюде
С зелёною каймой.
Не смеют шевельнуться
Тростинки бахромой.

Вдоль берега густая
Кувшинок полоса:
Овальных листьев стаи,
Искристая роса.

Кормильцы белых лилий —
Красивейших цветов!
А лилий нет? не всплыли?
Знать, нет семи часов?

Без трёх минут. Едва ли
Они всегда точны?
Заветный час проспали
В покоях глубины.

Нет, вот всплывают разом
И, призрачно легки, —
Едва заметишь глазом, —
Разводят лепестки.

Какая строгость линий,
Как нежен белый цвет!
И впрямь — чудесней лилий
Цветов в природе нет...

Пускай мои походы
Осуждены тобой,
Я забираюсь в воду
Столь раннею порой.

Приду к тебе с букетом,
Вручу и дам зарок:
Где б ни бродил по свету —
Являться точно в срок.

Михаил Махров

РОЖЬ

Урожай!
Урожай хорош!
Окупился с лихвою труд.
Расплескалась волнами рожь
На раздольном степном ветру.

Как отраднo стоять у межи,
Слушать полных колосьев звон
Созревающей в поле ржи,
Затопляющей горизонт!

Каждый колос налит,
Окреп,
Стебли плотной стеной стоят.
Наша гордость — колхозный хлеб —
В дело мира надёжный вклад!

МОЯ ШКОЛА

Над крышами посёлка возвышаясь,
Фасадом к югу обратясь, на свет,
Все та же ты,
Весёлая, большая,
Стоишь,
Как памятник моих прошедших лет.

(Привет тебе, моя родная школа!)
Я помню,

В детстве, будто лишь вчера,
Мы с книжками, ватагою весёлой,
К тебе спешили рано по утрам...
Потом пришли другие нам на смену,
Всегда ты жизни молодой полна:
Задорный, звонкий смех на переменах,
А в классах — деловая тишина...]

Развесистые клёны вдоль ограды.
Совсем неузнаваем школьный сад...
А помнится, сажали мы, юннаты,
Вот эти клёны
Много лет назад...]

Я думаю, сравнением удивлённый,
Как только в тихий школьный сад войду:
— Мы так же выросли,
Как эти клёны,
Посаженные нами.
Здесь — в саду...]

И. Радшиевский

ПОДВОДНЫЕ ДЕЛА

Басня

На имя осетра в подводном учрежденьи
Получено о щуке заявленье,
О щуке той, что в заводи большой
Начальницей назначена весной.
И в заводи с тех пор не жизнь, а мука:
Безудержу разбойничает щука.
Осётр со вздохом жалобу берёт —
Ведь делу нужно дать законный ход.
«Что делать? — он спросил сотрудника — вьюна, —
И надо бы приструнить — известна мне она!
Но с нею не резон вступать мне в пререканья,
А жалобу нельзя оставить без вниманья...»
На службе вьюн давно,
В бумагах поседел,
И даже, говорят, на них «собаку съел».
«Конечно, — он в ответ, —
Какое в том сомненье, —
Сложнейшее сложилось положенье.
Но выход есть у нас, отличнейший притом!
Мы щуке эту жалобу пошлём.
Огласка, знаете, ведь всякому страшна,
И будет поскромней вести себя она».
Не медля, щука рассмотрела дело
И тотчас же всех жалобщиков съела.
А на запрос отослала ответ,
Что недовольных в заводи, мол, нет...
С чего ж осётр хитрил?
Не приложу ума! —
Да, щука, вишь, племянница сома.

Юрий Шухов

ПЕРВЫЕ САДЫ

Памяти П. С. Комиссарова

Высокий огибая тын,
Упрямая тропинка пролегла.
Садовник-дед с задором молодым
Потряхивает груш колокола.
Сад хорошеет с каждою весной,
И оглянуться радостно назад:
Там на дорожке, за его спиной,
Девчонки напевают: «Уж ты сад...»
Под ветром выгибались деревца,
Под солнцем выпрямляясь, зацвели...
И с яблонь золотистая пыльца
Не потонула в земляной пыли.
За садом тракт... Там бубенцы звенят;
Немало озабочен садовод:
Вся свадьба едет по дороге в сад
Отведать яблочек сладких, будто мёд.
Корзины фруктами полным-полны,
А молодые весело кричат:
— Инструкции нам, дедушка, нужны,—
В день свадьбы мы закладываем сад!

КОМСОМОЛЬСК

Из камня сопки — опрокинутые чаши —
Потрескались от холода, жары,
Когда в непроходимой чаще,
Сменивши дятлов, застучали топоры.

То люди шли и шли со всех сторон
И пели про далёкую победу...
«Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу».
Амур как будто выходил из сил,
И тучи низкие на кедрах приземлялись.
И кто-то, девушкой обижен, уходил
И не ушёл, и все в тайге остались.
Опять встречали утро у костра,
И ветер дул себе да дул с норд-веста,
Но раньше с места сдвинется гора,
Чем комсомолец ей уступит место.
И вырос город. На проспект ночной
Выходит плотник, статный и пригожий,
А в окнах — свет! И свет над всей страной,
Над родиной счастливой молодёжи!

ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Они в поход выходят на рассвете,
И звать их краеведы, а не дети.
Они открыть мечтают по дороге
На старой речке новые пороги.
Но, как на зло, в районе всё открыто,
Им не найти ни гипса, ни гранита...
Сердито вытряхают с хлебом ранец —
И на зубах песок. Песок. Не сланец.
Песок! Ему как раз в деревне рады.
Такой песок в районе ждут прорабы.

СЧЕТОВОД

Бесконечны чисел вереницы.
Счёты щёлкают: «приход-расход»,
На костяшках столько тонн пшеницы
Пересеял за день счетовод!

Он устал, как будто ночью звёздной
Встал он не со стула, а с коня...

Счастлив он: в истории колхозной
Не было богаче трудодня!

ТАЁЖНАЯ ПРИСТАНЬ

Вдоль села таёжного плывёт
Всем знакомый старый пароход.
Капитана люди узнают,
Радость долетает до кают.

Капитан посмотрит то в планшет,
То на берег, где разлился свет...
Здесь он не бывал всего лишь год,
Но села совсем не узнаёт.

Андрей Лядов

МОРОЗ

Мороз дошёл до сорока
И встал над степью белою —
Мол, вот передохну слегка,
Ещё чудес наделаю!
Кругом следы его труда,
Приметы невесёлые —
Гудят с натуги провода,
Трещат деревья голые...
Ни куропаточьих крестов,
Ни путаницы заячьей,
И скрипнуть, кажется, готов
Сам воздух замерзающий.
Как будто на земле тепла
Не уцелело вовсе,
И жизнь навеки замерла
В пушистом снежном ворсе,
И солнце медным пятакom
Вверху завязло где-то...
Но вот ольха над большаком
Стряхнула иней с веток —
Сигнал машины грузовой
Вспорол туман белёсый,
Ему кивнули головой
Знакомые берёзы..
А вслед ему — моторный гул,
И степь дрожит от рокота.
Бодрятся саженцы в снегу, —
Работает дорога-то!
Машины мчат... У них всегда

«Вперед!» — одна пословица,
От их горячего труда
В степи теплей становится.
Идут, ведомые людьми,
И жизнь — идёт, кипучая.
Ну, а мороз — он, чёрт возьми,
От случая до случая!

В МАГАЗИНЕ

Поднялся день розовощёк,
По-праздничному прибран..
Весёлый шум поплыл, потёк,
Нахлынул на витрины.
Универмаг в людской реке,
Как пароход гружённый..
В него, смеясь, рука в руке,
Вошли молодожёны.
Отдел цветёт, как луг весной —
Шелка, сатины, ситцы..
Но краше россыпи цветной
Их молодые лица.
Что ей на платье подобрать?
Одеть какую тканью,
Чтоб эта ткань была подстать
Счастливых глаз сиянью?
И все вокруг, забыв своё,
Забоятся об этом,
С улыбкой смотрят на неё,
Спешат помочь советом..
Она, вниманьем смущена,
Благодарит, краснея,
А бородатый старина
Стоит, любуясь ею.
Пошевелил тайгу бровей
И, как отец семейства,
Гудит: — Ты, дочка, не робей,
Ты по-хозяйски действуй!
Вот я — старик, а с трудодней,
Когда бываю в духе,
Стараюсь вещи помодней

Купить своей старухе.
Она, конечно, депутат,
Известная свинарка —
Тут оснований целый ряд
Для ценного подарка,
Но, коли речь идёт насчёт
Цветастой всякой штуки,
Молодожёнам тут почёт,
Вам тут и карты в руки.
Я, извините, неспроста
Вмешался, старый, сходу —
Поскольку нынче красота
В повестке дня народу...
И продавец, учтя вполне
Ответственность задачи,
Бросать, катать, волна к волне,
Десятки радуг начал.
В отделе смех и толчея,
Как будто к свадьбе новой
Большая дружная семья
Явилась за обновой...
И солнце — выбирает шёлк
Лучом косым и длинным...
Эх, до чего же хорошо
Бродить по магазинам!

ПРОСПЕКТ

По лужам — рябь от ветерка...
Апрель во всей красе.
И солнце смотрит свысока
На серое шоссе.
И солнце ищет то окно
В бревенчатой стене,
Куда так много лет оно
Светило по весне.
Но луч на незнакомый сад
Нагнулся сгоряча,
Добро пожаловать! — гласят
Полоски кумача...
Насквозь пройдя оград узор,

Чугунное литьё,
Он в школу врезался в упор —
Здесь не было её!
Там, где избушки слободы
Кривились год назад,
Домов кирпичные ряды
По ниточке стоят.
И луч пошёл сверкать, дрожа
В стекле широких рам,
От этажа до этажа
Бродить, как по горам.
Но солнце видит — нипочём
Не обойтись теперь
Одним каким-нибудь лучом,
Тут сотнями их мерь!
И, награждая труд людской,
На новое жильё
Плеснуло щедрою рукой
Всё золото своё.
...Скворец, обжиться не успев,
Приветствует весну.
Советский молодой проспект
Шумит во всю длину.
Трамвай проходит по нему.
И радостное «дзинь»
Взлетает к солнцу самому,
В безоблачную синь.

ОШИБКА

...Крадётся вечер,
обходит город.
Реки изменчивая краса...
Жду парохода.
Он будет скоро,
и вот — последние полчаса.
Закат растаял.
Стою с другими,
томлюсь бездельем,
курю,
и вдруг —
над самым ухом —

чужое имя,
и я в плену горячих рук!
Прошла секунда
волной косою...
Ясна ошибка,
погас порыв.
Она смутилась,
но я в лицо ей
смотрел, глаза широко раскрыв.
Любовь огромная и чужая
у незнакомки в глазах цвела...
Я дал ей руку,
не утешая,
простился молча.
Она ушла.
В воде дробились
огни,
мигая,
неуловимый узор слая,
и мне припомнилась та, другая,
моя подруга,
печаль моя.
Гудок был долог,
могуч,
заливист,
но я не слышал его, чудак —
стоял и думал, —
где тот счастливец,
кого так любят
и ищут так?

Иван Измайловский

КОНЬКИ

Только лёд закуёт
Речки звонкую медь —
Мне пора со двора
Вслед за ветром лететь!
И коньки мне легки,
И мороз нипочём,
И к лицу, молодцу,
Мне гореть кумачом!

ЁЛКА

По вечерам на холоду
Метелица не пой —
Я к ёлке тихо подойду
Заснеженной тропой.
Срублю, украшу ёлкин мех
И в школу передам.
Пускай под музыку и смех
Сегодня ночью там
Старик подарки раздаёт.
Фонарики горят,
И не смолкает хоровод
Ликующих ребят!

• • •

У реки, за школой,
Стадион — игра там...

Ты, мороз весёлый,
Не грози ребятам,
Подойди поближе —
Нарумянишь лица.
Хорошо на лыжах
С горки прокатиться!

ПОДСНЕЖНИК

Ты родился под солнцем вешним
И украсил мой светлый край.
Я от счастья пою, подснежник,
Будь весёлым — не умирай.
Я пробрался к тебе, мой нежный,
Хоть тропинки ещё в снегу.
Я люблюсь тобой, подснежник,
Но никак сорвать не могу...

Иван Истомин

ИЛЬИЧУ

Столица спит в мерцании снегов,
Бойцы сменились и уснули,
И я у мавзолея твоего
Стою в почётном карауле!
Я, озарённый знаменем, стою
И думаю: как с морем рски,
Мы, ненцы, с русскими судьбу свою
Спаяли дружбою навеки!
Желанный мир, трудясь из года в год,
Мы отстоим ценой любою —
Нас к миру воля партии ведёт
Путём, указанным тобою!

ЯМАЛЬСКОЕ УТРО

Только тундра озарится
И засияет в синеве,
Вновь струится из столицы
Гимн по радиоволне.
И рыбак опять у дела,
И ко мхам пастух проник,
И не зря охотник смелый
Заряжает дробовик.
Самолёт гудит над крышей,
Значит — почте быть пора.
«Труд — есть дело чести», — пишет
В светлой школе детвора.
Я же на рассвете алом

Запеваю — мне подстать
О моих друзьях с Ямала
Песни звонкие слагать!

РОДНАЯ ОБЬ

Человек, природы силу зная,
Побеждает всюду — он упрям —
Мы тебя не пустим, Обь родная,
Течь под вьюгой к северным морям.
Мы поставим поздно или рано
Мощные плотины, и тогда
По волнам шестого океана
Поплывут весёлые суда.
На турбины воду опрокинем, —
А у нас сомнений в этом нет, —
Будет влага жаждущим пустыням,
Вечной мерзлоте — тепло и свет.
Будет, как учёные сказали,
Наша тундра солнцем залита,
Будут кипарисы на Ямале,
Северная ель в Алма-Ата!
Человек сказал: налью и вылью
Океаны, если захочу.
Эта сказка нынче стала былью —
Нам любое дело по плечу!

ВЕСНА РЫБАКА

В море льды перечисляют мили,
И Уралу мил полярный день.
Горные вершины заломили
Белые папахи набекрень.
В облаках, перекликаясь звонко,
Журавли плывут издалека.
Снова белопарусная лодка
На волнах качает рыбака.
В юном сердце счастье и отрада.
Штормы и туманы — не беда.
Как рыбак в районе Салехарда
Он себя прославил навсегда!

ПЕСНИ МАЯ

Ветры, зиму обнимая,
Грызли снег и лёд ломали,
И ручьями песни мая
Зазвучали на Ямале.
Их весна сложила мудро,
Потому под песни эти
Пастухи — уходят в тундру,
Рыбаки — готовят сети!

ОХОТНИК ВОРНА

Шёл охотник Яптик Ворна
За собакою проворно.

Шёл, в свою удачу веря,
По следам пушного зверя.

С Яндо (так собаку звали)
Отдохнул он на привале,

А затем в кустах таловых
Брал добычу в самоловах.

Видит Ворна в поле мчится
Чернобурая лисица.

Грянул выстрел без прицела, —
Та и твякнуть не успела.

Вечер в Тундре был хороший,
И к посёлку с ценной ношей

За собакою проворно
Шёл охотник Яптик Ворна.

*Перевод с ненецкого
И. Измайловского.*

Сергей Шибает

ОТЕЦ

Этим состязанием закрывался футбольный сезон. Игра протекала очень бурно. Командам дали дополнительное время, но счёт так и остался ничейным — 1:1.

После финального свистка судья Димка не бросился, как обычно, к своей заводской команде, не жал всем игрокам подряд руки и не качал вместе с другими болельщиками разметчика Юру, на славу защищавшего сегодня ворота.

Димка с тревогой взглянул на круглые электрические часы над центральной трибуной и, не очень вежливо расталкивая публику, бегом направился к выходу.

Димка явно опаздывал. Бегом он пересек скверик и очутился около трамвая как раз в ту минуту, когда тот, часто и требовательно позвякивая, сдвинулся с места. Не раздумывая, Димка прыгнул на ступеньки и протиснулся в двери. У входа он кому-то наступил на ногу, ткнулся головой в грудь лейтенанту-речнику. Его стремительное появление вызвало в трамвае оживление. На Димку смотрели удивлённые любопытные лица пассажи-

ров, с интересом разглядывал его лейтенант и строго-строго — девочка у дверей: это ей Димка наступил на ногу. Он торопливо полез в карман, подавая кондукторше мелочь, нетвёрдым баском произнёс:

— Будьте любезны — билетик.

Принимая сдачу, уронил монету, сделал было движение поднять её и передумал, растерялся. Лейтенант-речник, чуть заметно улыбнувшись, поднял из-под ног гривенник, протянул его Димке.

— Вы уронили, молодой человек.

Димка гривенник взял, солидно кашлянул в кулак:

— Ничего, благодарю, товарищ лейтенант. Заработаем.

Девочка у дверей в лёгком осеннем пальто, с портфелем в руках притушила строгий взгляд, улыбнулась. Димка искоса посмотрел на неё: тоненькая, какая-то вся светлая, а лицо серьёзное. И часики на руках. Надо бы извиниться за свою неловкость. И ещё вот что... Обязательно надо купить себе часы. В первую же получку купить.

Димка размышлял недолго и, решившись, чуть притронулся к рукаву девочки, негромко сказал:

— Вы извините. Это я нечаянно на ногу...

— Нет, нет. Я не в обиде, ничего, — почему-то весело ответила девочка.

Димка густо покраснел и очень обрадовался, что в эту минуту новый поток пассажиров на остановке разъединил их. Но когда трамвай тронулся, девочка оказалась совсем рядом с Димкой, так что даже её портфель упёрся ему в колено, и он разглядел серые спокойные, чуть насмешливые глаза девочки.

— Опаздываю, понимаете, — сокрущённо сказал Димка. — Который теперь час?

Девочка привычно взглянула на часы, ответила. Вообще, она только выглядела такой серьёзной и строгой а на самом деле оказалась очень разговорчивой и весёлой. Через пять минут Димка уже знал, что её зовут Таня и едет она сейчас из школы и, кажется, тоже опаздывает на вокзал.

— На вокзал? Кого-нибудь провожаете? — спросил Димка.

Таня ответила чуть-чуть горделиво:

— Папа уезжает в Москву.

— В Москву!— почти выкрикнул Димка.— Вот совпадение... И я провожаю в Москву.

— А вы кого провожаете?

Трамвай остановился, и Димке показалось, что все пассажиры внимательно слушают их, а они слишком громко разговаривают

— Я? Я тоже отца, — вполголоса произнёс Димка и, отвернувшись к окну, в отражении стекла поймал на себе внимательный взгляд лейтенанта-речника.

Трамвай пошёл, и Димка снова заговорил громко:

— Знаете, Таня, а я с завтрашнего дня самостоятельно работать буду. Иван Петрович говорит...

— Какой Иван Петрович?

Димка увидел широко распахнутые удивлённые Танины глаза.

— Как какой? А-а... Это я отца на работе так зову. Я ведь учеником у него... Нет, с завтрашнего дня уже самостоятельно токарем.

— Токарем? — с недоумением, как показалось Димке, повторила Таня. Он кашлянул в кулак, сказал чуть-чуть покровительственно:

— Токарем, знаете, не каждый может быть.

И сразу заговорил горячо, как бы боясь, чтоб его не прервали:

— Вот, взять хотя бы скоростное резание. Жаль долго объяснять...

— А я знаю, — спокойно произнесла Таня. — И про резцы с отрицательным уголком и про эти самые... Фу, всё забываю, керамические пластинки.

— Правда? Я керамическими ещё чистоты не могу добиться, — честно признался Димка. — А вот отец... он, значит, первый на заводе освоил эти резцы. Тогда к нему инженеры с других заводов приезжали. Уважают его в цехе. Мастера там, технологи часто советуются с ним. Подойдут... «а как нам, Иван Петрович, не лучше ли валик перевести на скоростное?» Да что в цехе... В Москву-то он знаете зачем едет? По вызову. В Министерстве на коллеги будет рассказывать, об опыте своём.

Трамвай стоял уже несколько минут в ожидании встречного, но Димка теперь ничего не замечал. Не заметил он как, прислушиваясь к их разговору, перемигнулись старичок в замасленной спецовке с речником: «Вишь растёт молодёжь».

Димка с азартом рассказывал:

— А то вот как-то недавно заказ к нам поступил срочный, для Каховской гидростанции. Так отец прямо трое суток не выходил из цеха. С конструкторами они приспособление одно испытывали. Добились своего. Почти в два раза быстрее срока этот заказ цех выполнил. И, знаете, Таня, потом вечер был заводской, так отца наградили.

Увлёкшись, Димка не заметил, что девочка Таня слушала его со всё возрастающим удивлением и то и дело нетерпеливо поглядывала на часы.

Когда трамвай пронёсся мимо кинотеатра с яркими афишами и, обогнув многоэтажное белое здание, остановился на кольце, первыми выскочили на асфальт вокзальной площади Таня и Димка.

На перроне вокзала царила та шумная суетливая толчея, которая всегда бывает в последние минуты перед отходом поезда. Пассажиры сновали взад и вперёд, толпились около вагонов, перекликались с провожающими. К одной из таких групп, с радостным возгласом, и бросилась Таня. Димка последовал было за ней, но вдруг остановился, полуоткрыв рот, и даже слегка побледнел.

Возле подножки вагона стоял Иван Петрович. Таня с разбегу обняла его.

— Папочка! А я успела?

Один из провожающих, в котором Димка узнал парторга завода, сказал громко, с весёлой улыбкой:

— Э-э! Иван Петрович, да у тебя дочка какая выросла!

— В седьмом классе.— Иван Петрович погладил Таню по голове.

Димка постоял в нерешительности и совсем уже было собрался юркнуть за чью-то спину, но Иван Петрович заметил его.

— А-а! Дима, ты чего же опаздываешь, дружок. Ну, иди, иди...

Дальнейшее происходило для Димки словно в полусне. Иван Петрович, положив руку ему на плечо, говорил парторгу:

— Ученик мой. Смена. Завтра встанет за мой станок. Смекалист парень. Не зазнался бы, говорите? Нет, нет, рабочая струнка у парня есть.

Потом все начали прощаться, и Иван Петрович крепко встряхнул Димкину руку, кашлянул в кулак, сказал строго:

— Ну, сынок, надеюсь на тебя. Не подкачаешь? Флажок красный, что вместе завоевали, не отдашь? Так ведь?

Растерявшийся Димка молчал.

Вместо него ответил парторг.

— Не отдадим, не подкачаем, — и, немного помолчав, добавил:

— Ответственная задача у вас, Иван Петрович. Почётная. Ваш опыт — честь завода.

Иван Петрович ничего не сказал, поправил ремень гимнастёрки и только твёрдо, спокойно посмотрел на парторга. Таню он поцеловал в лоб. И вдруг, словно спохватившись, промолвил:

— Познакомьтесь-ка вот с молодым человеком. Учиться ему надо. Помогите ему, Танюша, за семилетку сдать. Я давно собирался попросить тебя. Мы с ним за одну парту в техникум пойдём. Слышите, товарищ парторг.

Поезд ушёл, и на опустевшем перроне Таня и Димка остались одни. Таня молчала. Димка как-то весь напряжился, исподлобья взглянув на неё, вдруг отрывисто произнёс:

— Отца нет... у меня. Ещё в войну с немцами... погиб. И мать тоже...

Таня шагнула к нему, осторожно взяла его за руку.

— Вы куда сейчас, Дима? Идёмте к нам, идёмте. Я вам книги покажу, у папы их много всяких... и по скоростному резанию.

Так, взявшись за руки, они постояли ещё некоторое время, разом взглянув в ту сторону, где в густосиней дали таял дымок паровоза.

Борис Малочевский

ПУТИ-ДОРОГИ

В субботу утром завгар Дрозд сказал:

— Иди в контору. Начальник зовёт.

У порога к Дмитрию подкатился Поршень. Дмитрий замахнулся:

— Пошёл отсюда!

Поршень, обиженный, опустил хвост, отошёл.

Целые дни Поршень торчал у гаража. Водители гладили, ласкали его, и к вечеру из белого с рыжими подпалинами щенок становился бурым. После смены заправщица Даша, сердясь, отмывала своего питомца тёплой водой с мылом. Раньше Поршень всюду носился за Дмитрием: шофёр наедине угощал его колбасой, о чём-то спрашивал ласковыми словами. Но с недавних пор всё переменялось...

В конторе стлался сизоватый дым папирос. Начальник признавал только один сорт «Север», который упрямо называл по моряцкой привычке «Норд». У стола сидел Алексей Кривоносов. Дмитрий даже бровью не повёл: сидит и сидит, чёрт с ним, откуда бы он ни взялся.

— Вот, — сказал начальник сердитым голосом и мотнул головой в сторону Алексея. — Видал зимовщика? Машина с тракторными моторами в поле под Любомировкой, бензин пожар, дороги нет. Картина? — повернулся он к Кривоносову.

— Горючего не хватило, — виновато сказал парень. — А дорога, Евграф Дормидонтович, — сами знаете...

— Я — не знаю! — начальник смерил шагами комнату, остановился перед Дмитрием. Усмешка чуть тронула его усы.

— Барахтаться в сугробах, понимаешь, товарищу Кривоносову надоело. Отбухал пешком с полсотни километров, вроде как странствующий богомолец, явился к нам, в родную обитель. Ну — а дальше что делать?

Алексей сидел сгорбившись, в грязном расстёгнутом у ворота полушубке. Лицо осунулось, подбородок зарос щетиной. «Прикидывается, — решил Дмитрий. — Разжалобить хочет». И тотчас обида болью отозвалась в сердце: «Хоть бы шофёр был порядочный... Эх, Даша!»

В комнате стало темнее. За окном кружился редкий зимний пух.

— Если сейчас машину не вытащим, значит, — всё..

Начальник не уточнил, что означало это короткое «всё», но Дмитрий отчётливо представил: оставленную в снегу в самое бурное время полуторку Алексея не удастся включить в работу до самой весны.

— К Любомировке, говорят, угольник пустили, — как можно равнодушнее произнёс Дмитрий. Евграф Дормидонтович обернулся, внимательно посмотрел на него:

— Что — попробуешь?

Дмитрий пожал плечами:

— Как прикажут... Наше дело выполнять.

Он чувствовал, что начальник немножко хитрит. Разговор сводился, в сущности, к одному: надо было пробиться с горючим к оставленной машине, чтобы она дошла до города.

Приказывать здесь было бы смешно: когда перемело пути — на приказе не поедешь. В этом любой шофёр разбирался не хуже начальника.

К удивлению, начальник не вспыхнул, как можно было ожидать, но, помедлив, невесело согласился:

— Ясно. Ваше дело небольшое.

— Я — поеду! — обозлился сам не зная почему Дмитрий. — Я-то поеду. А на другую машину кого дадите? Что я — один две полуторки обратно поведу?

Ему хотелось подчеркнуть своё пренебрежение к подавленно вздыхавшему парню.

Тот вздрогнул:

— Евграф Дормидонтович...

— Ясно! — остановил начальник. И снова его усы слегка дрогнули. — Между прочим, бензина разрешаю взять вволю.

А когда Кривоносков вышел, он положил на плечо Дмитрию свою тяжёлую руку:

— Ты Знаменку не забыл? Вот она, товарищ, какая картина...

И легонько вздохнул, подтолкнув водителя к двери.

— Главное, он за тобой до тракта доедет. Там — легче.

У заправочной колонки никого не было. Дмитрий за-сигналил. Из-за угла конторы выбежала Даша: коротенькая телогрейка, платок вздёрнут, весь лоб открыт — зима не берёт. Следом за ней появился Кривоносков: тащит бачки — канистры. Низ у канистр в снегу — значит, ставил на землю, когда разговаривал с ней...

Пока Даша отмеряла горючее, Дмитрий не выходил из кабины. Девушка крикнула: «готово», убрала шланг. Дмитрий отвёл машину от колонки. Он видел, как Алексей, заправляя бачки, что-то говорил Даше. Девушка расхохоталась, провела ладонью по его щеке. Парень погладил щёку и тоже засмеялся. Дмитрий рывком распахнул дверцу:

— Давай быстрее!..

Из города выбирались не меньше часа: сначала Кривоносков ждал у дома Дмитрия, пока тот обедал, потом Алексей закусывал в чайной. Улочки становились всё короче, срубы чаще. За последними домами вытянулся Любомировский тракт.

Дорога к райцентру была расчищена угольником. Гусеничный трактор прошёл здесь несколько дней назад. Изредка впереди, словно «перекати-поле», перебегали дорожку снежные вихорьки.

Говорить было не о чём. Прошло уже порядочно времени, но навстречу не попадалась ни одна машина.

— Нашему брату — отпуск.

Улыбка у Алексея против воли вышла чуть смущённой. Дмитрий усмехнулся про себя: мальчишка! Двух месяцев не прошло, как окончил курсы, а теперь бросил в сугробе машину, сам приплёлся в город и ещё оправдывается: «Наш брат!» А если бы тебе пришлось очутиться в том знаменском переплёте, о котором сегодня вспоминал начальник?

Небо хмурилось, суровело. Окрепшие снежные вихорьки со свистом неслись навстречу.

...Каким в тот год был конец февраля: мягче? жёстче? Три шофёра сидели в Знаменском — шестьдесят километров от города: за околицей в снегу тонули лошади. И всё-таки Дмитрий первым завёл полторку, когда ждать стало невозможно, — они тоже везли тогда тракторные моторы из МТС на ремонтный завод. Четверо суток пробивались на машинах — пятнадцать километров в день — полтора в час — в три раза медленнее, чем идёт пеший. «Арифметика северного бездорожья», — в шутку сказал ему после очкастый корреспондент из газеты. Шутить корреспонденту было легко. Он всё допытывался: «Ваша тактика езды по снегу?». Дмитрию нравилось слово «тактика» — напоминало бой. И он очень пожалел, что никакой «тактики» у него не было. Просто следовало гиблые сугробистые места проходить на самом малом газу: скаты не резали снег, не вязли в нём; пресуя, уплотняя его, машина будто осторожно плыла по верху. Ребятам из гаража это, пожалуй, показалось хитрой выдумкой, — они промолчали.

После Знаменки его фотокарточка появилась на Доске почёта в красном уголке. Под фотографией подливали: «Шофёр — отличник. Систематически выполняет план на 140 и более процентов».

Когда на работу приняли новую заправщицу, — он долго считал: «Девчонка! Что в ней особенного?..» Это было давно. А сейчас рядом с ним — этот парень, и Даше совсем всё равно, что карточка Дмитрия на Доске почёта...

Не останавливаясь, они проскочили Любомировку. У развилки дорог Дмитрий притормозил:

— Нам влево, — сказал Кривонос. — Отсюда километров десять.

Телеграфные столбы остались позади. Начинался санный путь. Машина становилась всё непослушнее. Сверху сыпалась крупа — чаще, чаще. Степь сердито ожила и надвигалась на них серой стеной. Алексей заёрзал на сиденьи. Но теперь Дмитрию некогда было думать ни о себе, ни о нём.

От тракта до кривоносской машины они пробивались немногим меньше, чем от города до райцентра. Наконец увидели машину.

— Прибыли! — выкрикнул Кривонос. — А намело, намело — боже ж ты мой!..

Не dokonчив, он направился к машине, рукавом полущубка сгрёб снег с капота, откинул его, завозился в моторе. Дмитрий вытащил из кузова лопату, принялся разгребать снег.

Спустя какой-нибудь час всё было готово. Оба торопились: ветер сбивал струю пламени от паяльной лампы, которой Кривонос грел мотор. Рукавицы у него были огромные, мешали. Он сбросил их и время от времени водил пальцами у самой горелки: на ветру пальцы сводило крючками.

Мотор простуженно кашлял, чихал. Наконец полуторка нерешительно качнулась и двинулась — плавно, накатом. Дмитрий передал руль Кривоносову, побежал к своей машине. На подножке ударило в спину, — он сунулся лицом в дверцу, выругался, облегчённо вздохнул. Фары выхватили крутоверть снега.

Проехав с полкилометра, Дмитрий дал сигнал и прислушался. Ответного гудка не было. Он просигналил ещё, приоткрыл дверку, оглянулся. Позади, в тусклой пелене, едва мерцали фары кривоносской машины. Пришлось подождать, свет не приближался.

— Вот пень! — снова выругался Дмитрий.

Больше всего ему хотелось сейчас ехать. Ехать, а не стоять на месте в расходящейся метелью степи. Он ждал, не решаясь вылезти из кабины, затем нахлобучил шапку, пошел обратно, на расплывчатый свет...

Кривонос цеплялся за руль, судорожно работал руками, ногами, туловищем, как бывает с человеком, не умеющим плавать и случайно оказавшемся на большой воде. Машина, изъелозив дорогу, глубоко зарылась передними скатами в сугроб.

— Ты — что? — кричал Дмитрий. — Ночевать собрался?

Алексей повернул к нему растерянное лицо:

— Снег не пускает...

— Зачем ты его пашешь?

Он оттолкнул Кривоносова, начал выводить полуторку в колею, которую успело перемести. Теперь приходилось брать раскачкой: вперёд — назад и снова — вперёд и назад. Обледеневший валенок всё чаще соскальзывал с педали, нога, выжимавшая сцепление, онемела, стала чужой, деревянной.

— Не понимаешь что ли по-человечески?!

Нет, Кривоносов понимал всё, что делал Дмитрий. Но когда он сам взялся за руль, машина забуксовала.

Пурга набиралась ярости.

— Смотри! Ты! Смотри сюда!

Напрягая силы, Дмитрий опять повёл полупорку.

Кругом ворочалось, металось. Неожиданно обе машины оказались близко: одна в хвосте другой. Ветер наваливался на них: сверху, снизу. Сыпучий шорох позёмки сливался с угрожающим тихим гулом, гудела вся степь.

Теперь Дмитрий снова двинулся впереди. Его машина дрожала, как больной в лихорадке. Надо было обязательно выбираться на тракт.

Голову так и клонило вниз, веки слипались, тяжёлый предательский сон томил всё тело.

Глупее всего, что он связался с этим мальчишкой. А ещё глупее, что ветер без конца хлещет в спину, хотя ветру — всё равно куда дуть, и если бы он дул как раз в другую сторону, итти полупорке Алексея было бы совсем нетрудно и быстро. Впрочем, зачем же ему итти обратно?..

На последней мысли он поймал себя, уже ступив из кабины в снег. Позади было пусто.

Пробиваться одному... Разве кто-нибудь поставит ему это в вину? Рано или поздно Кривоносов сам дотянет до тракта. Конечно, дотянет... Пожалуй что... Ведь он, Дмитрий, сделал всё, что от него требовалось. Разве он обязан отвечать за этого парня?..

До боли в глазах Дмитрий всматривался в тёмную пелену. Крошечное пятнышко света мигнуло, исчезло, мигнуло. Придерживаясь за борт полупорки, он сделал несколько шагов, оторвался от борта. Стоять посреди дороги было ещё хуже. Тогда Дмитрий, проклиная темь, пургу и всё на свете, двинулся туда, где снова застрял Кривоносов. Чем дальше он отходил от своей машины, тем крепче стискивал зубы. Метель торопливо стирала за ним ямки следов.

Сшшш! Сшшш!!!

Это — ветер. «Ветер — движение масс воздуха», — учили в школе... Ох... и задаст же он Кривоносову, когда доберётся до него! Скорей бы только добраться...

От прежней остановки Алексей проехал метров двести. Но он так глубоко засел в снегу, что все попытки

Дмитрия раскачать машину кончались неудачей. Кривоносов бился у колёс с лопатой, что-то говорил, голос относилось в сторону. Потом он притих, выдохся...

Сколько прошло времени до тех пор, пока Дмитрий затормозил перед кузовом своей полуторки, никто из них не знал. Разминая пальцы, он жестоко бросил:

— Ну?!

— Езжайте вперёд, Дмитрий Егорович, — еле слышно сказал Алексей. Подбородок у него дрогнул. Парень отвернулся. И тогда Дмитрий понял, что он совсем зря дважды тащился по метели, дважды перегонял чужую машину. Он совсем зря вёз ей бензин, а завгар Дрозд выписывал путёвку, а начальник говорил: «Помнишь Знаменку»... Кривоносов всё равно не мог дотянуть до тракта...

Он выключил зажигание:

— Иди в мою машину!

Алексей отрицательно качал головой.

— Вылезай, говорю! — закричал Дмитрий. — Пропал тут из-за тебя что-ли?!

Парень неловко вывалился из кабины, согнувшись встал у подножия. Дмитрий рванул его за полушубок. Алексей переступил ватными ногами...

Потом полуторка Дмитрия тронулась сквозь пургу. Кривоносов сидел рядом, как в начале рейса, и всё оглядывался, будто прощался с оставленной ими машиной.

...Спит Даша, спит Поршень... Когда воскресенье — завтра или сегодня?... С нынешней получки надо купить часы, — без часов плохо. Есть красивые часы — в три стрелки... Ну их — часы! Надо только ехать!

...Завтра воскресенье... в понедельник — получка, в понедельник — магазины закрыты... Если бы сейчас можно было уснуть...

Метель бушевала во-всю. Кривоносов полез в карман, достал пачку папирос. Непослушными пальцами он протянул её Дмитрию. Папиросы были «Север», тот самый «Север», который начальник упрямо называл по-морскому: «Норд». Начальник был очень упрям во всём: он считает: — оба пробьются, потому что план перевозок никак не может ждать.

...Машина встала, как вкопанная. Алексей успел только крикнуть:

— Куда Дмитрий Егорович? — и бросился вслед, в кипень снега. Он по-заячьи забежал, сбоку. Дмитрий погрозил ему кулаком:

— Оставайся здесь!

Но парень, пряча лицо от острых ледяных укусов, закачался впереди. За его спиной итти было чуть легче, но Дмитрий всё вырывался, а Кривонос не уступал ему дорогу, стараясь прикрыть его своим телом.

Им казалось, что они шли долго, хотя до покинутой машины не было и трети километра. В железной коробке кабины отдышались: торопливо, с шумом, набирая в лёгкие как можно больше пахнущего бензиновой гарью воздуха.

— Ве-те-рок! — выговорил с расстановкой Дмитрий.

— Ветерок! — согласился Кривонос и чему-то улыбнулся открыто, даже радостно. Чему он радовался, Дмитрий не представлял, но неожиданно для себя тоже ответил Алексею короткой улыбкой.

И всё повторилось сызнова. Вторая машина догоняла первую, словно они не могли расстаться друг с другом. Понизу и поверху крутило, сыпало, выло. Снова два человека двигались по степи гуськом: передний, спотыкаясь, падая, пытался загородить собой другого от неистовых ударов ветра.

Электрический фонарик тускнел — кончалась батарейка...

После каждого перехода от машины к машине Алексей вытаскивал из кармана измятую пачку «Севера». Оба жадно проглатывали горечь дыма. Дмитрий загадал про себя: успеют до тракта, пока не выйдет курево, — значит... впрочем, ничего не значит! Лучше купить часы...

Когда фары боязливо выхватили из сжимающего их холодного месива первый телеграфный столб, Кривонос разорвал пачку надвое: на самом дне лежала последняя папироса. Он посмотрел на столб, на папиросу, зачем-то помял набивку, табак сыпался на полушубок. Потом он протянул её Дмитрию.

— Ничего, — хрипло выдавил Дмитрий, — кури.

— Сначала — ты! — сказал Кривонос.

Дмитрий сделал несколько затяжек.

— Мне больше осталось, — пожалел Алексей. — Ей-богу, больше!

И торопливо схватил папиросу чёрным ртом.

Оба отправились к оставленной позади полуторке Алексея в последний раз. Они шли, держась друг за друга. И, может быть, потому, что каждый старался итти в ногу с товарищем, свинцовая тяжесть, налившая валенки, медленно таяла, исчезала прочь.

А ветер всё хлестал и хлестал.

В понедельник Дмитрий появился на территории гаража задолго до звона колокола, извещавшего начало рабочего дня. Он и сам удивился: зачем пришёл сюда раньше обычного.

У крыльца конторы стояли двое: Алексей держал руку Даши в своей руке. Они не видели третьего, — третий свернул за гараж, в сторону. Ему послышалось: кто-то ласково и взволнованно говорил: «Дима»...

Андрей Дубицкий

СТЕПАН КАРАГАНОВ

Обед близился к концу, когда на полевой стан прибыла автомашина и остановилась около столовой. Через стенку было слышно, как, газанув несколько раз на месте, водитель заглушил мотор, и кто-то из девчат радостно крикнул:

— Караганов приехал!

Это значило — кинопередвижка из района!

Молодёжь в столовой заметно оживилась. Не успевшие пообедать быстрее задвигали ложками и челюстями, а те, что пообедали, выскочили на улицу.

Прибывшую полуторку-будку окружили колхозники.

Из кабины, опираясь на алюминиевую трость, вылез улыбающийся Караганов.

— Здравствуйте, — сказал он, твёрдо став на землю. — Вот и мы, получайте!

Слова приехавшего были восприняты, как продолжение давно начатого разговора. Отвечали ему в том же шутовском тоне. Бригадир полеводческой бригады Илья Иванович Бурцев, человек пожилой и усатый, энергично тряс руку киномеханика.

— В самую пору приехал, Степан. Хвалю, — говорил он. — Ты нам во как нужен! — И он провёл рукой по горлу.

— Что случилось? — спросил Караганов.

— Как что! Мы же обязательство взяли рассчитаться по хлебопоставкам на полмесяца раньше срока. С «Октябрём» соревнуемся. Люди работают изо всех сил... Сейчас, знаешь, как хорошо кино посмотреть и му-

зыку послушать! Зарядка. — Илья Иванович хлопнул Караганова по плечу: — Учти, дружище, ты — наш первый помощник в работе!

— Учтём, — улыбался Караганов, а сам думал, что это — последний рейс: на следующей неделе ему надо ехать на пятимесячные курсы повышения квалификации.

Другого киномеханика будет встречать на этом полевом стане Илья Иванович... В самую горячую пору приходится оставлять работу! Если бы не были уже оформлены документы и если бы не настаивал начальник кинофикации, то ещё можно было бы...

— А мы, Стёпа, только сегодня с Машей о вас вспоминали, — сказала стоявшая рядом с Ильёй Ивановичем бойкая смуглая девушка.

— В самом деле?

Караганову были знакомы обе девушки: Нюся Лесовская и Маша Ковалёва работали в бригаде Бурцева.

— Честное слово, вспоминали! — воскликнула Нюся. — Если не верите мне, спросите у Маши.

Маша с досадой глянула на подругу и покраснела. По мере того, как со щёк сходили красные пятна, глаза её прищуривались, становились холодными. Девушка явно мстила за свою минутную слабость. Караганов сделал вид, что не заметил этого, стараясь быть, как всегда, общительным и подвижным. Он роздал привезённые газеты и письма, отвечал на многочисленные вопросы, смешил людей шутками.

Выглядел Караганов почти юношей, хотя ему было уже за двадцать пять. Тёмные волосы, сросшиеся на переносице брови, умные серые глаза. Был он без фуражки, в синем шевиотовом пиджаке и таких же брюках навыпуск. Двигаясь, опирался на алюминиевую трость, припадая на левую ногу.

Правая нога тяжело стучала о землю, издавая характерный скрип протеза. Где и когда потерял он свою ногу? Четыре нашивки о ранении и орденские колодочки, приколотые на груди, делали вопрос излишним. Во всяком случае, медали «За оборону Сталинграда» и «За взятие Будапешта» свидетельствовали, что от Волги до Дуная прошёл Караганов на обоих ногах, а уж где-то потом, может быть, на Мораве или Гроне, пометила его разрывная фашистская пуля или снарядный осколок.

День стоял ведренный, тёплый. В осеннем безоблачном небе пролетали серебристые паутинки. Голубая дымка скрадывала горизонт.

С полевого стана видна была грейдерная дорога, по которой пылили автомашины. Правее от дороги, на огромном жёлтом массиве, работал самоходный комбайн. А ещё правее — располагался ток.

Не без удивления Караганов обнаружил электролинию. Прошлый раз, когда он приезжал сюда, электричества не было. Теперь провода подходили к постройкам полевого стана, тянулись на ток. Собственно, так оно и есть. Вспомнил. На днях областная газета писала, что по инициативе комсомольцев «Красного пахаря» от колхозной электростанции к полевому стану проложена временная линия.

— Денёк на славу, — сказал Илья Иванович. — Не успеваем из бункеров хлеб отгружать. Завалили нас сегодня зерном комбайнеры.

— Денёк хорош, — согласился Караганов.

— А это видел? — указал бригадир на провода.

— Правильно сделали.

— То-то. Однако для всех машин на току у нас электромоторов не хватает. Из МТС обещали дать, а дадут ли?...

— Дадут, — успокоил Караганов.

Илья Иванович не без гордости сказал:

— Комсомольцы моей бригады тоже отличились в этом деле... Например, Нюся и Маша ямы для столбов рыли... Боевые девчата. — Он посмотрел на карманные часы. — Однако, обеденный перерыв кончился, на ток спешить надо. Ты сперва ступай в столовку, к Аграфене, перекуси с дороги, а потом уж налаживай своё хозяйство...

Полевой стан быстро опустел.

Караганов проводил взглядом группу девушек. Нюся и Маша шли в обнимку. Девушки пели:

Снова замерло всё до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь...

Стройная фигура Маши покачивалась в такт песни.

Только слышно на улице где-то...

— Пойдём Костя, — сказал Караганов шофёру Осьмухину, направляясь к столовой.

Их встретила Аграфена Филимоновна, или попросту тётя Груня. В войну она лишилась двух сыновей. И теперь жила у своей младшей сестры. На полевом стане работала поварихой. Добрая и чуткая к людям, Аграфена Филимоновна испытывала особую привязанность к Караганову. Когда он приезжал в «Красный пахарь», она наливала ему самые густые и жирные щи, выбирала лучшую порцию поджарки или картофеля, иногда баловала яичницей или стаканом сливок. Как и сама она, киномеханик был одиноким. Он дорог был Аграфене Филимоновне ещё и тем, что чем-то напоминал ей потерянных сыновей.

Аграфена Филимоновна поставила перед Карагановым и Осьмухиным по миске борща, немного перепревшее мясо, просяные блинчики в топлёном масле. Осьмухин с едой управился быстро. Поблагодарил хозяйку за угощение, одел свою выдавшую виды кепку и, пояснив, что ему засветло надо ещё успеть исправить тормоза у машины, вышел на улицу.

На кухне остались Аграфена Филимоновна и Караганов. Повариха присела к столу.

— Ешь, ешь, — заговорила с грубоватой нежностью Аграфена Филимоновна, заметив, что Караганов собирается отодвинуть от себя тарелку с блинчиками. — Штаны-то и так того гляди спадут — держаться не на чём. Ключёшь, как курица, а ещё мужик... Ешь, пока тётя Груня кормит.

Не выполнить этого требования Аграфены Филимоновны — значило обидеть её. Караганов снова принял за блинчики. А она следила, как он ест, неторопливо расспрашивала:

— Невесту-то ещё не подыскал себе?

— Нет.

— Что так?

— Успеется с этим, — уклончиво ответил Караганов.

— Ни рубашки постирать некому, ни пуговицы пришить. А жена была бы и всё бы по-другому шло. Желиться тебе пора, Стёпа.

— На свадьбу вина много надо, — посмеивался он.

— Мы тебе, знаешь, какую невесту сосватали бы!

— Ещё бы! На деревянную ногу любая кинется.

— Дурак! — рассердилась Аграфена Филимоновна. Глаза её округлились и потемнели. Она даже встала от негодования.

— Ты за кого это девчат наших считаешь? — спросила она. Или ты не видишь, какой тебе почёт от всех!

— Почёт — почётом, а жена — женой.

— Вот уж, ей-богу, где дурак набитый. Истинный дурак.

— С дурака спросу меньше, — сморщился Караганов.

— Пустомеля... Не вороти нос от людей, а то и они от тебя могут отвернуться. Не в тебе одном счастье.

— Я никому не навязываюсь...

— Молчи лучше, если так.

Чтобы окончательно не поссориться с Аграфеной Филимоновной, Караганов поспешил уйти из кухни.

Долго и особенно тщательно налаживал он аппаратуру, насвистывая «Песню варяжского гостя».

Он хотел сосредоточить мысли на том, как лучше провести предстоящий сеанс: «Последний раз у них. Пусть добром вспоминают, когда уеду».

В красном уголке стало тесно и душно. Окна завесили одеялами. Мест не хватало, и поэтому многие вынуждены были сидеть на подоконниках и даже на полу, в проходе между скамейками.

За стеной тарахтел движок, через открытую дверь вместе с вечерней прохладой доносился запах сгоревшего бензина.

— Скоро ты там? — нетерпеливо спрашивал Караганов у Осьмухина, который возился на улице с движком и никак не мог его отрегулировать. Движок то чихал и плевался, то, будто обозлившись на моториста, начинал сыпать дробную трескотню. Осьмухину помогал тракторист в лоснящемся комбинезоне.

— Бросай ты свою трещотку! — не выдержав, крикнул Илья Иванович Осьмухину. — Подключайся к нашей линии.

— Нет, я свою налажу, — упорствовал Осьмухин.

— У тебя техника отсталая! — крикнул кто-то из публики. Мы с электромоторами, а ты с бензинкой. У нас, у колхоза, учись! — Правильно! — засмеялись в зале. — Сдавайся, Осьмухин.

— Сейчас... одну минуту...

— Переключай, — приказал Караганов.

Под одобрительный смех колхозников Осьмухин капитулировал. Артельный монтер Гарбуз моментально сделал подключение.

— Порядок, — объявил он, — трогай.

Караганов ещё раз протёр кусочком замши объектив аппарата, погасил осветительную лампу. Несколько оборотов ручки — и голубоватый сноп света упал на экран. Вздрагивая, мерцая крохотными, быстро бегущими блёстками, появилось изображение. Одновременно из динамика хлынула волна симфонической музыки. В зале возник шум, похожий на разрозненные вздохи: большинство зрителей читало вводные надписи вслух. Стрекотание аппарата, музыка и этот своеобразный шум сразу же настроили Караганова на деловой лад. С профессиональной внимательностью он следил за мерцающим экраном, удовлетворённо отмечая безотказную работу аппаратуры.

В короткие перерывы, когда приходилось включать свет, чтобы поставить очередную часть ленты, он искоса, как бы между прочим, бросал взгляд в сторону Маши, сидевшей среди подруг у окна. Видел он одно и тоже — затылок, шею и сложенные венчиком косы.

После сеанса, уловив момент, когда Маша с подругами проходила мимо него, он спросил, понравилась ли ей картина. Девушка неопределённо пожала плечами. Она смотрела на него вопросительно и насмешливо. Караганову стало неприятно от этого взгляда. Почему она всегда так смотрит на него? В поведении девушки ему чудилось что-то обидное, однако, подавив обиду, он улыбнулся.

— В следующий раз я привезу такую картину, которая тебе обязательно понравится.

— Специально для меня? — брови Маши удивлённо поднялись вверх.

— Специально для тебя.

— Вот это, девчата, я понимаю! — прыснула Нюся Лесовская.

Девушки засмеялись. «Какой я в самом деле дурак», — подумал Караганов. Ему вдруг захотелось бросить всё и уехать в другой колхоз. Прихрамывая сильнее обычного, он вышел на улицу и велел Осьмухину готовить машину. Осьмухин заявил, что никуда они не поедут, по-

сколько он не успел ещё исправить тормозов, а, кроме того, им ведь предстоит провести здесь вечер танцев.

— Проведём и поедем.

— Я русским языком сказал, что нельзя.

— Доездились... Шофёр тоже называется...

— Ругайся сколько хочешь, а я казённую машину гробить не буду.

Пришлось согласиться с упрямым Осьмухиным. Караганов и сам понимал свою неправоту.

Танцы затянулись далеко за полночь. Радиола наигрывала краковяк, русскую плясовую, лёгкие нежные вальсы. Учётчик Колька Соловьёв заказал лезгинку. Широко размахивая руками, почти не касаясь носками земли, под дружное хлопанье ладош и выкрики «асса», он стремительно носился по кругу.

Многие пожилые колхозники и те не могли утерпеть, чтобы не выйти на круг и не тряхнуть стариной.

Ярко горели электрические лампочки; около каждой из них кружились налетевшие на свет мотыльки.

Наблюдая за Машей, Караганов думал о том, что ему нужно поговорить с ней наедине, объяснить, что у неё сложилось о нём неправильное мнение. Он никогда не причинял ей ничего плохого и не заслужил... Чего, именно, не заслужил? Слово, которое выразило бы его чувства и мысли, не подвёртывалось. Раз, когда Маша, только что провальсировав, возбуждённая и ещё больше похорошевшая, стала недалеко от него, он шагнул к ней, но поговорить не пришлось — её снова увлекли на круг.

Остаток вечера Караганов провёл неважно. Целиком доверив радиолу Осьмухину, устало вытянув свою плохо сгибающуюся ногу, он молча сидел на табурете, постукивая о ботинок алюминиевой тростью. Хорошо, что, кажется кроме Осьмухина, никто не замечал его плохого настроения.

Ночевать Караганов и Осьмухин решили не в общестии, а на початом прошлогоднем скирде сена, который стоял сразу же за столовой. Пока Осьмухин ходил к машине за своим плащом, Караганов устроил постель и лёг.

Электрические лампочки на стане давно погасли.

— Чего ты квёлый такой? Будто голодный или муху съел, — спросил Осьмухин.

— Нездоровится что-то...

— Н-нда...

Кряхтя, шофёр начал снимать сапоги. Укладывался он неуклюже, ворочался, шуршал пересошим сеном, поднимая удушливую горькую пыль. Через минуту после того, как он угомонился, Караганов услышал ровное сопенье, чередовавшееся с булькающим храпом. «Горазд спать», — подумал Караганов о своём спутнике.

Ночь выдалась звёздная, с дремотной торжественной тишиной. Пахло сухим прелым сеном, а в воздухе чувствовалась болотная сырость, близко, в каких-нибудь пяти-десяти метрах от стана, находилось илистое заросшее камышом озеро. Посвистывая крыльями, с хлебов изредка прилетали запоздалые утки и плюхались на воду. Внизу, около скирды, лежала пара быков, они сонно вздыхали, отрывивали и жевали жвачку.

Караганов прислушивался к ночным звукам, смотрел в усыпанное звёздами небо. Беспокойная струнка ныла в сердце.

Караганов думал о том, что вот он ездит по колхозам, демонстрирует фильмы. Почти во всех из них рассказывается про любовь. Сколько он уже показал этих фильмов!.. Почему же у самого него складывается жизнь как-то не так... не то, чтоб плохо, а как-то неполно.

Маша Ковалёва... Больше незачем было скрывать, можно было честно, хотя бы перед самим собой, сознаться, наконец, в своей любви. Но что толку в признании. Верятно, Аграфена Филимоновна присущим всем матерям чутьём угадывала, какие думки вынашивал Караганов и поэтому всегда, когда он приезжал в «Красный пахарь», начинала разговоры о женитьбе, вольно или невольно беря большое место. Добрая, золотая старуха! Она кое-что угадывала, но не всё. Неведомо было Аграфене Филимоновне, о ком он думает и почему Маша не питает к нему никаких чувств...

Сонный Осьмухин то и дело забрасывал на Караганова свою тяжёлую руку, бормотал и снова начинал храпеть.

Один из быков, лежавших около скирды, поднялся на ноги и, подойдя к столовой, стал чесаться об угол, повалил прислонённую к стене доску, которая с грохотом упала на что-то железное. Несколько раз тьякнула проснувшаяся, испуганная громом собачонка. Успокоившись, она прошла мимо скирды. Караганов слышал, как она по-

тянулась, визгливо зевнула и, резко присев, клацая зубами, стала ловить блох...

В вышине трепетали звёзды, было похоже, что там был густо рассыпан жемчужный бисер. Иногда «бисеринки» срывались, падали вниз, и тогда невольно думалось, что есть, наверное, на земле люди, которые собирают небесный жемчуг.

Уснул Степан перед восходом солнца, когда на траву пала роса, а над озером плавал молочный туман. Снизлась Маша, шедшая с букетом цветов. Маша, улыбаясь, подала Караганову цветы... но в это время Осьмухин бесцеремонно сдёрнул с него одеяло.

— Эй, начальник, вставай, проспишь всё на свете!

— Фу ты, чёрт, уже светло, — удивился Караганов, жмурясь от ослепительного утреннего солнца. — Который час, Костя?

— Девять скоро. Позавтракаем и поедем — тормоза я исправил.

Хотелось ещё подремать. Караганов потянул было одеяло к себе, однако Осьмухин вырвал одеяло у него из рук и отбросил в сторону.

— Довольно спать!

Завтракали всё в той же столовой у Аграфены Филимоновны. У Караганова побаливала голова, на душе был скверный осадок.

Пока Осьмухин принёс от колодца воды и залил радиатор, Караганов, вырвав из записной книжки клетчатый листок с красной каёмочкой по обрезау, написал:

«Маша! На днях я уеду на курсы, после курсов постараюсь попасть на работу в другой район, чтобы больше не встречаться с тобой. А почему — ты, наверное, знаешь сама.

Я не могу уехать, не простившись с тобой потому, что люблю тебя и ты для меня дороже всех на свете. Помни, что у тебя есть верный друг, которого зовут Степаном Карагановым и который всегда поможет тебе, если это тебе потребуется.

От души желаю тебе счастья и всех удач.

С. Караганов».

Свернул бумажку треугольничком, как делал когда-то на фронте, отправляя письма друзьям. Оставалось пе-

редать записку. На счастье, появился Колька Соловьёв, зачем-то приехавший с тока на полевой стан.

— Что это? — заглушив мотор мотоцикла, спросил Колька, когда Караганов подал ему записку.

— Передашь Маше.

— А-а, — понимающе усмехнулся Колька и сунул записку в боковой карман пиджака.

Потом Караганов обнял и поцеловал Аграфену Филимоновну.

— Будто совсем уезжаешь? — насторожилась она.

— Совсем не совсем, а надолго... На курсы.

— В добрый час. Учись прилежнее и обо мне, старухе, не забывай, пиши чаще... Постой-ка, — она исчезла в дверях кухни и через минуту вынесла промасленный газетный свёрток. — Пирожков с мясом тебе на дорогу...

— Спасибо, тётя Груня...

Машина выехала на дорогу. Оглянувшись, Караганов видел, как Аграфена Филимоновна утирала глаза фартуком...

Справа и слева от дороги простирались хлебные поля.

* * *

Большой многолюдный город сверкал электричеством, зеркальными окнами магазинов, светящимися рекламными. Он оглушал звоном трамваев и гудением автомобильных сирен. Здесь были десятки заводов, фабрик, институтов, школ и училищ...

Караганов, несмотря на занятость, ежедневно выкраивал время, чтобы сходить в театр или кино, прогуляться по центральному проспекту или посидеть на скамейке в скверике против исторического музея.

Город ему очень нравился. И всё же тянуло обратно в свой район. Хотелось работать, ездить по колхозам, разговаривать с людьми, которые так хорошо его привлекали и с которыми был тесно связан его труд.

Караганов внимательно следил по газетам и радиосообщениям за жизнью своего района и знал, что «Красный пахарь» успешно выполнил обязательство по хлебопоставкам, завоевав переходящее Красное знамя районного Совета. Много интересного сообщала ему в своих письмах Аграфена Филимоновна.

От неё он узнал, что в «Красном пахаре» завершено строительство нового клуба, при котором создан радио-узел, что для животноводческих ферм поступили новые машины для приготовления кормов и что общее собрание колхозников решило весной будущего года расширить фруктовый сад. От неё же он узнал, что монтер Шура Гарбуз уехал учиться в институт и что Машу избрали комсоргом колхоза. О Маше она упомянула только раз и то бегло, а Караганову хотелось, чтобы именно о ней-то и было написано как можно подробнее. Маша не переписывалась с ним. С затаённым волнением он ждал её письма, но письмо не приходило.

Наступили праздничные ноябрьские дни. Большинство курсантов, в связи с тем, что на неделю были предоставлены каникулы, разъехались по домам. В общежитии осталось несколько человек (в том числе и Караганов). 7 ноября устроили дружескую пирушку, пели песни, играли в бильярд и в завершение всего гурьбой пошли слушать оперу «Евгений Онегин».

На следующий день Караганов отправился на традиционную ноябрьскую сельскохозяйственную выставку. Шёл он в надежде повстречать там кого-либо из знакомых.

Город был нарядным от множества лозунгов, флагов, флажков, панно и транспарантов. Падали крупные редкие снежинки. Зима бесшумно опускалась на землю. Подмывало озорничать, кидаться снежинками, бездумно догонять кого-то, видеть перед собой горячие раздумывавшиеся лица и опять бежать и опять догонять.

Едва Караганов миновал высокую арку с красным полотнищем «Добро пожаловать», как столкнулся с Ильёй Ивановичем Бурцевым.

— Эге, мил дружок, и ты здесь! — и Илья Иванович обрадованно стиснул его руку в своих крепких пальцах. Обрадовался и Караганов.

— Здесь! — улыбнулся он. — Надо же посмотреть на ваши достижения.

— Непременно надо. Я вот сам хожу и диву даюсь — будто бы всё знаю, а выходит — не всё. Есть, оказывается, головы поумнее наших... Добра разного понаволокли видимо-невидимо. Ты, что — только что пришёл? — спросил он. — Тогда айда со мной, я тебе всё сам покажу.

Не дожидаясь согласия, он потянул Караганова за рукав.

— Мы тоже удостоились, — горделиво сказал Илья Иванович, — лучше нашей Красули по продуктивности на выставке нет. Да и по картофелю мы многих обогнали... Наши колхозные мичуринцы вывели... Каждый клубень без малого килограмм весит.

В павильоне «Красного пахаря» Караганов встретил несколько знакомых колхозников, дежуривших около экспонатов и дававших объяснения посетителям. Илья Иванович показал Караганову Красулю, прядящего ушами чистокровного орловского жеребца Урагана и тонкорунных овец. Вдоль стен павильона — аппараты для электрострижки и электродойки, кормоприготовительные машины.

На покрашенных охрой подставках стояли мешки с семенами высокоурожайных, выращиваемых колхозом сортов. Тут же около каждого мешка, чтобы зрители имели наглядное представление, помещались снопики из стеблей той или иной культуры.

Столы ломились от вилок капусты, арбузов, помидоров, картофеля и яблок.

Караганов внимательно рассматривал экспонаты, читал надписи на этикетках.

И вдруг он услышал знакомый, заставивший его вздрогнуть голос. Кровь прилила к голове, сердце учащённо застучало. Выждав минуту, чтобы дать себе успокоиться, он выпрямился и поднял глаза. Нет, он не ошибся. В пуховом оренбургском платке, чёрной шубке и высоких резиновых ботах в дверях стояла Маша. Глаза их встретились. Караганов ожидал, что Маша растеряется, смутится, но она смотрела на него пристально, спокойно. Караганов смутился сам.

Маша шагнула к нему, подавая руку, сказала:

— Здравствуй, Стёпа.

Что-то новое, еле уловимое было в оттенках её голоса. «Она комсорг, — подумал он, — ей теперь надо вести себя более сдержанно».

Маша заметно похудела (или только так казалось), однако лицо было попрежнему свежим и красивым.

Передал ей Колька Соловьёв записку или нет? Караганов старался угадать мысли девушки. Взгляд её и выражение лица ничего не говорили.

Маша передала привет от Аграфены Филимоновны, кое-что рассказала о колхозных делах и общих знакомых. Постепенно натянутость между ними исчезла.

— Ты как, пойдёшь досматривать выставку-то? — спросил Илья Иванович Караганова.

— А то как же.

— Тогда идём.

— И я с вами, — сказала Маша.

— Пожалуйста. Веселее будет, — ответил Илья Иванович.

В павильонах толпился народ. Праздничный шум заполнял площадь. Репродукторы гремели без умолку. Передовики сельского хозяйства, выступая у микрофона, рассказывали об опыте своей работы.

— А ведь ничего, ладно получается, — посмеивался в усы Илья Иванович, и непонятно было, что он имел в виду — выставку, выступления передовиков или Караганова и Машу.

Пёстрое убранство площади, праздничная приподнятость, близость Маши — всё это волновало Караганова. Он много говорил и шутил. Маша смеялась над его остротами. Смех её он воспринимал как награду. Любовь, которую он хотел забыть, пришла к нему с новой силой.

Втроём они побывали в столовой. Потом Илья Иванович, большой любитель кино, настоял пойти на дневной сеанс. Картина шла старая, но бригадир упорно доказывал, что посмотреть картину на полевом стане — одно дело, а в городском благоустроенном театре — другое.

Во время сеанса Илья Иванович держался с достоинством, откинувшись на спинку кресла и оседлав нос очками в чёрной роговой оправе. Маша часто шевелилась, вероятно, ей неудобно было сидеть. Караганов, поглощённый своими мыслями, только для видимости смотрел на экран. Он сам десятки раз демонстрировал эту картину, знал её до мелочей. В картине рассказывалось о войне, о любви между зубатым фронтовиком и девушкой из среднеазиатского колхоза. Может быть, в другое время его и волновало бы содержание фильма. Теперь же ему не было никакого дела до чужой любви, если своя собственная — живая, осязаемая — сидела с ним рядом, была настолько близка, что он чувствовал её локтем, вдыхал исходящее от неё тепло.

Вечером он проводил Илью Ивановича и Машу на вокзал. Маша пожала Караганову руку, заглянула в глаза и скрылась в тамбуре вагона. Илья Иванович помахал ему шапкой, когда поезд уже тронулся с места.

В первую минуту Караганову показалось, что на перроне стало так же неуютно, как осенью в городском парке, когда через оголившиеся вершины деревьев просвечивает небо, а внизу, на земле, ветер завивает пыль и жёлтые листья — память о минувшем лете.

Дождавшись, когда поезд скроется за тёмными корпусами депо, Караганов повернул к автобусной остановке. Идти в общежитие не хотелось: там наверняка никого не было, ребята где-нибудь гуляли. А ему необходимо было быть среди людей. И он снова очутился в павильонах выставки.

Какой-то старичок в котиковой шапке попросил у него прикурить. Караганов стал шарить по карманам и совершенно неожиданно в кармане пальто обнаружил конверт. На конверте — прямой разборчивый почерк.
— Маша?!

Старичок с удивлением посмотрел на молодого человека, метнувшегося в сторону.

«Я знала, что ты придёшь сюда и что я тебя встречу. Письмо это написала дома и загадала: если сделанный мною вывод подтвердился — передам тебе, а не подтвердился — порву.

Твоё письмо Николай С. мне вручил, но я не отвечала, боялась сделать ошибку. Мне нужен друг на всю жизнь, а не на один день.

Не скрою, тебя я люблю тоже давно. После твоего отъезда много думала и даже плакала. Теперь я убедилась в твоей искренности. Кончай учёбу и приезжай к нам, мы все ждём тебя с нетерпением, особенно я и тётя Груня. Целую тебя, хороший мой Стёпа.

М. К.».

Караганов несколько раз перечитал написанное, не зная верить или не верить. Потом он почувствовал, что не в состоянии сдержать своей радости. Шёл и улыбался встречным, и встречные, глядя на него, тоже улыбались.

А праздничный город шумел, утопая в огнях и музыке.

Владимир Полторакин

СЕМЬЯ

Белесоватый иней лежал на крышах и наличниках домов. Широкая деревенская улица изогнулась по течению тихой реки Урманки, уже укрытой ровным льдом. Ветер наметал на лёд лёгкие, как из паутины, снежные узоры. На берегу толпились мальчишки, запуская звонкие ледяшки, подталкивая один другого на ещё не окрепший лёд.

Заметив на том берегу бабушку Татьяну, спускавшуюся к реке с пустыми вёдрами, мальчишки мигом заслонили одного из своих товарищей, но старуха, войдя на мостки, с которых летом черпали воду, крикнула:

— Вадька! Не хоронись, вижу...

Коромыслом продолбив лёд, зачерпнула воды и снова крикнула:

— Захватишь воду-ту! Слышь?

И ушла с одним ведром.

Мальчишка с чернильной кляксой в ухе достал из кармана шарф, повесил его на шею, вытащил из-под ремня книги, застегнул пальто и нехотя поплёлся в конец улицы, к насыпному мосту.

А у ворот крайнего домика караулила Вадьку другая женщина, его тетка по отцу, Агата Павловна Заболотная. Лицо у тётки было смуглое, с широким лбом и большими чёрными глазами; одевалась она только в тёмное.

Агата Павловна работала в районном доме культуры пианисткой, а Вадьку обучала музыке. Каждая встреча с этой женщиной напоминала ему о бесконечных гаммах и резких предупредительных постукиваниях пальцами о крышку пианино, после которых всё приходилось

играть снова и снова. Одним словом, тётя Агата была для Вадьки воплощением самого нудного занятия из всех, какие только могли выдумать взрослые люди.

Но сегодня была суббота — свободный день от музыкальных занятий. И Вадька, конечно, приготовился уже сказать об этом своей тётушке. Впрочем, лицо Агаты Павловны сегодня было не таким, каким оно бывает тогда, когда она караулит Вадьку с тем, чтобы засадить его за инструмент. Лицо у тётушки было каким-то торжественным, даже ликующим.

— Я жду тебя целый час. У вас было пять уроков? — сказала Заболотная, поправляя на мальчишке шапку. — Ты нужен мне, Вадик.

— Да меня вон бабушка воду просит принести домой. Ведро на мостках оставила, — сказал Вадька.

— Вадим, слушай что говорю тебе я, — сказала Заболотная и, взяв племянника под руку, повела его к своему дому.

— Ты ещё мал, чтобы таскать воду. Это во-первых. Во-вторых, тебя не просят принести воду, тебе приказывают, понимаешь: приказывают!

В доме у тётки пахло сдобными плюшками и ещё чем-то вкусным-превкусным! На вешалке висело чьё-то коричневое пальто, сверху, на полочке, лежала красивая тёмнозелёная шляпа, каких Вадька ещё и не видел.

Не успел ещё Вадька и подумать, кто бы это мог приехать, как из комнаты легко и быстро вышел высокий мужчина, чуточку похожий на тётку, но намного её красивее; он осмотрел Вадьку с головы до ног, улыбнулся и сказал:

— А знаешь, Агаточка, я представлял его на голову ниже. Ну, здравствуй!

Он взял Вадьку за обе руки, откинулся назад, как делают для того, чтобы покружиться с кем-нибудь.

Тётка сняла с мальчишка шапку и простонала, как будто ей наступили на мозоль.

— О-у! Он остриг тебя! — И стала объяснять мужчине, какие волосы были у Вадьки только вчера, убеждать в том, что этот изверг остриг мальчишка только потому, что у самого на голове растёт рыжая щетина, похожая на медную проволоку. Мужчина не слушал её. Он всё смотрел на Вадьку, но улыбался почему-то грустно, как

будто у него что-то болело, а он и не хотел показать этого, но и не мог скрыть.

— Глаза у него только синие, не наши, — говорила Заболотная.

— Верочкины глаза, — живо сказал мужчина, как восклицают обычно люди, встречая давно забытого товарища. — И, смотри, — он закусил нижнюю губу! — Верочкина гримаса недовольства и недоумения!

Мужчина отпустил Вадькины руки, но их тут же перехватила тётка, и голова её закачалась будто от удара.

— Ой, Вадька! — воскликнула она, — руки-то, руки! В чернилах, грязные... и в ухе чернила. Господи! Я только сейчас заметила.

— Я этой щекой отворачивался, — ответил Вадька, — а тут вас двое, не отвертисься.

Тётка и её гость переглянулись, и по их взглядам и по тому, как ласково потрепала женщина племянника за ухо, можно было сразу догадаться, что Вадькин ответ им понравился.

Руки и лицо пришлось Вадьке отмывать резиновой губкой. Тётка со своим гостем ушла в комнату и там спросила его о чём-то:

— Ну, как Серёжа?

Мужчина ничего не ответил, тогда через минуту тётя Агата сказала с грустью:

— Видимо, ты всё-таки не любишь детей.

Говорила она тихо, но Вадька слышал всё до единого слова. Мужчина возразил ей, возразил тоже не очень-то весёлым голосом:

— Что можно видеть в чужой душе?

Когда тётка вышла к Вадьке с полотенцем, он спросил её тихо:

— А кто это, тётя Ага?

Женщина посмотрела ему в глаза.

— Разве ты не догадываешься? Ну, конечно, приехал твой папка. Он увезёт тебя, только будь умником.

Вадька перестал вытирать покрасневшее ухо, глаза его широко открылись, но ни радости, ни восторга не увидела в них Агата Павловна.

— Разве ты не рад, Вадик, — прошептала она удивлённо и даже потормошила Вадьку за плечо. — Мы все вместе будем жить в городе. Я поведу тебя в театр, о котором рассказывала, папка возьмёт тебя на сцену, на

эстраду. Только будь умником... Почему ты не признаёшься, что отчим бьёт тебя.

— Ну, а если он не бьёт, так что? Врать, по-вашему?

Тётка подняла указательный палец к губам и быстро-быстро покачала им.

— Отмылся? — спросила она громко и повела Вадьку в комнату, придерживая его сзади за плечи.

В комнате было тесно от мебели. Почти на всех стульях сиденья проваливались, и на полу под каждым стулом почти всегда лежала желтоватая труха.

Сергей Заболотный стоял у стола, накрытого к обеду. В руке дымилась папироса. Он воткнул её в пепельницу с окурками, посадил Вадьку на стул и сам сел рядом.

— Ну... расскажи что-нибудь? — сказал он.

Но не так-то просто разговориться, когда тебя просят рассказать неопределённое «что-нибудь».

Вадька тихонько покашлял в руку, хотя ему вовсе не хотелось кашлять, затем стал рассматривать стену, как будто на ней могло обнаружиться что-нибудь интересное. Было ему как-то не по себе. Он не знал, о чём говорить с этим незнакомым человеком, называвшим себя отцом.

Тётка принесла гуся, начинённого капустой. И стала отрезать для Вадима лапку. Заболотный открыл бутылку и спросил Вадима:

— Ты не выпьешь с нами?

Мальчик посмотрел на него удивлённо.

— Ну... а как ты учишься?

— Да так...

— Учится он блестяще! — перебила Заболотная племянника. — Ему занижают отметки, я говорила с учителями. А отчим, конечно, с учителями не говорил, истинного положения не знает и требует от мальчика невозможного.

«Ну, уж с кем-с кем, а с учителями-то, он говорит каждую неделю, — подумал Вадька. — Было бы лучше, если бы он с ними вовсе не виделся».

С тех пор, как у него появился отчим, ему стало тесно и неудобно жить. Все в доме заплясали под дудочку отчима, все ухватились за Вадьку: утром Вадька к умывальнику, а бабка уже тут, как тут:

— Зубы почему не чистишь?

Сама прожила 70 лет, зубной щётки в зубах не держала. Выставят тройку в дневнике (Ну, двойку бы, а то—тройку!) — навалятся на Вадьку все, даже дедушка. Сам три класса кончил при царе Горохе, не знает, например, что такое глагол, а в тетрадки заглядывает. А уж если случится Вадьке подраться или что-нибудь натворить, тогда и в углу настоишься, и на улице не выпустят...

Выпил Заболотный только одну рюмку, ел очень мало, а потом пил крепкий чай и жаловался:

— Устал я, Агаточка... Устал, — говорил он задумчиво. — Уже слышу своё сердце. И так всё надоело: эстрада, бесконечные разъезды. Таким однообразным кажется всё, что раньше щекотало нервы... Однообразным, как пляска картонного подергунчика.

Может быть, ему хотелось, чтобы тётя Агата пожалела его: на больного-то Заболотный несколько не походил.

После обеда Агата Павловна открыла форточку и выставила на полку, укреплённую по ту сторону окна, голубую тарелочку с конопляным семенем и крошками от стола. На полку прилетели красногрудые снегири и воробьи. Из-за ширмы вышел большой белый ангорский кот, лениво потянулся, посмотрел за окно, на птиц и лёг, смешно, не по-кошачьи, на бок, откинув лапы.

— Сейчас Вадим поиграет нам, — сказала Заболотная и, закулив папиросу, ушла к печке.

— Изверг этот, между прочим, не хочет, чтобы Вадик обучался музыке... — говорила она, и дым вылетал у неё изо рта за каждым словом. — Я его понимаю. Я его великолепно понимаю! Сам он — бездарность и неуч. Подумаешь, механик МТС! Кроме грязных своих машин ничего не знает. И этот невежа думает взять от меня Вадимку. К ним в школу, видите ли, приехал какой-то музыкантик! Уж по тому, что никто порядочный в такое захолустье не поедет, можно судить, что это за маэстро и что это будет за обучение!

А Вадька сидел у открытого инструмента и думал о том, что сейчас делается на речке и долго ли его ещё продержит у себя тётя Агата.

Заболотный, выслушав сестру, отошёл к окну и не то задумался, не то засмотрелся на снегирей.

Тётка положила кота себе на колени, спрятала пальцы в его длинную шерсть и сказала Вадиму, что он должен играть.

Прослушав первую часть сонатины, Заболотный отошёл от окна к инструменту и остановился за спиной мальчика, наблюдая за его руками.

— Укажи мне ещё одного ребенка, который к 10 годам играл бы так свободно и с таким чувством, — сказала тётушка, когда Вадька проиграл сонатину до конца и стал осторожно закрывать инструмент. Говорила она запальчиво, тоном возражающего, хотя Заболотный ещё и не высказал своего суждения.

— Уроков сегодня много задали, — сказал Вадька и обернулся к Заболотному, рассчитывая найти поддержку. А Заболотный словно не замечал теперь сына, отвернулся к столу и стал что-то быстро писать.

— Чёрт возьми! — сказал он громко.

— Едем завтра, продавай свои гнилушки, — обратился он к Заболотной.

— Не так скоро всё это продаётся, — ответила тётка. Заболотный свернул бумагу вчетверо и хлопнул ею по ногтю.

— Это письмо отдашь маме, — сказал он. — Отдашь, и приходите сразу же с ней сюда.

Он проводил Вадьку за ворота, затем прищурился на лёд.

— Коньки-то у тебя есть? Купим, если нету...

— Коньки-то есть, только они у дедушки в мастерской, под верстаком.

— Ну, ну. Это ничего. В городе будем ходить на каток. Музыка, свет! Ну, беги!

Ведро с мостков бабушка уже унесла, и Вадька вошёл в дом, чувствуя себя виноватым.

— Где же это запропастился-то? — сказала бабушка сердито. Глаза её холодно поблескивали, от уголков сухих, плотно сжатых губ опускались вниз резко обозначенные складочки. Взяв Вадькину шапку и положив её на лавку под висячий посудный шкафчик, бабушка спросила строго:

— Ты что же это снова удумал? За каким лешим тебя на крышу-то занесло?

Вадька мигом сообразил, что отчим побывал уже в школе, обо всём узнал и, когда приходил обедать, сделал наказ бабушке, никуда не выпускать Вадьку.

— Леший на тебе ездит, что ли, — говорила бабушка. — На крышу залез, на урок опоздал...

— Да если бы Витька с Петькой лестницу не оттащили, не опоздали бы. А я всё равно по трубе слез. Другой бы кто весь урок просидел.

— Другой бы не полез! — перебила бабушка. — Чего там на крыше-то? Шею сломать?

Бабушка стала собирать на стол. Вадьке пришлось обедать второй раз: не хотелось обижать бабушку. Да только разве её обманешь?

— У этой наелся? Вижу, носом-то крутишь, — сказала она и отвернулась. А когда обида прошла, то принялась ворчать, повторяя давным-давно заученное Вадькой.

Вспомнила всё, что натворил Вадька за последние недели, потом захватила летние проделки, вернулась к сегодняшнему и начала всё сизнова.

Вадька разложил учебники, зная, что это успокоит бабушку.

Прошёл час, а может быть, немного больше. Вадька решил задачу, повторил географию, вызубрил заданное по русскому, достал свой альбом, зачинил цветные карандаши и принялся рисовать. Стриженная голова его склонялась то вправо, то влево, кончик языка высовывался и скользил по верхней губе. Если бабушка не смотрела в его сторону, то он ещё муслил каждый карандаш, и от этого на его нижней губе оставались разноцветные полоски.

Когда Вадька рисовал, то время у него проходило быстро. Он забывал даже, что на улице его ожидают товарищи.

Спихватился Вадька, когда бабушка загремела самоваром: видимо, вот-вот должны были придти с работы мама и отчим. Вадька нащупал в кармане письмо Заболотного и с опаской посмотрел в сторону бабушки.

Вадька отогнул уголок шторы: на берегах Урманки попрежнему бегали мальчишки, перекидываясь камушками и подталкивая друг друга на лёд. Из трубы одного из заречных домиков столбиком струился негустой дым; низкое солнце окрашивало его сиреневато-розовым светом: мороз на улице, видимо, крепчал. С каждой минутой крепче становился и лёд на речке, и в любой момент его могли обкатать сургутские или выселочные мальчишки.

По дороге от моста шла Иринка, восьмилетняя девочка, дочка отчима, новая Вадькина сестрёнка. Училась

Иринка во вторую смену, мама с отчимом приходили домой через час после неё.

«Если в этот час не вырваться, — прощай тогда коньки на целую неделю», — подумал Вадька.

Но Вадьке повезло.

Иринку кто-то окликнул, она остановилась. К ней подскочил Витька Арбузов, выхватил портфель и побежал к реке. Вадька потянулся к своей шапке, — бабушка подозрительно посмотрела на него.

— Витька вон портфель у Иринки отобрал, — сказал Вадька. — На лёд бросит, уж я его знаю.

Бабушка принялась стучать в стекло пальцами.

— Да не затевай драки! — крикнула она Вадьке.

А он уж хлопнул дверью, выбежал за ворота. Витька скорчил ему гримасу и бегом, оглядываясь, побежал к переулку:

— Не догонишь!

Вадька погрозил ему кулаком и пошёл к Иринке. Девочка, растерянно хлопая мохнатыми ресничками, смотрела на свой портфель, брошенный почти на середину речки.

— Далеко не убежит, — сказал ей Вадька. — А портфель достанем. Вот, смотри...

Вадька вытащил из карманов пальто рукавицы, свернул их клубком и бросил на лёд к портфелю.

— Никто не тронет... Иди-ка, я что-то скажу...

У Вадьки созрел план похищения коньков, и он изложил его девочке. Иринка сначала обрадовалась тому, что и она может быть полезной своему братишке, а потом снова захлопала ресничками и сказала, что она никогда не воровала и воровать не будет.

— Какое же это воровство? — удивлённо возразил Вадька. — Коньки-то мои. Понимаешь? Мне их надо просто вынести на улицу, наточить, ремешки привязать. А дедушка не даёт. Уж я завтра, так и быть, даже в куклы с тобой могу поиграть.

— Ну-у, завтра... ты бы лучше завтра на коньках покатался.

— Ого! Завтра и дурак покатается. Даже сегодня вечером все будут на речке. А? Пойдём, Ириш, посмотрим. Уж если увидим, что нельзя, так нельзя. Посмотрим и всё. Будто просто так зашли. Я кровать для твоих кукол буду делать.

Пойти к дедушке в мастерскую «просто так» Иринка согласилась, — первая половина Вадькиной затеи удалась.

Дедушка работал у верстака и, как всегда, пел вполголоса. Лицо у него было, как сеточкой, морщинами покрыто.

Морщинки, пересекая друг друга, образовывали ромбики и треугольники.

Отложив фальцовку, дедушка чуточку удивлённо посмотрел на ребят, а когда узнал, что Вадька собирается делать кроватку для куклы, одобрительно улыбнулся, осторожно откинул у Иринки капюшон, оттороченный белым кроликом, расправил её бант, похожий на большую синюю бабочку, а потом снова взялся за работу. Маленькой фальцовки не видно было под его широкими ладонями, и казалось, что тоненькая курчавая стружка бежит прямо из дедушкиных рук. Вместе со стружкой заструилась и тихая песня. Не зря капельмейстер из дома культуры говорит, что на каждой дедушкиной стружке, как на плёнке, записана какая-нибудь песня.

В мастерской у Вадьки был свой маленький верстак, свой инструмент. Правда, кроватей Вадька ещё ни разу в жизни не делал, но Иринкины куклы были неприхотливы, спали до сих пор где попало и потому рады будут любой колымаге.

Разыскивая для поделки подходящие обрезки досок, Вадька забрался под дедов верстак, вытащил ботинки с коньками на видное место и стал пилить и орудовать рашпилем.

— Как дедушка подойдёт ко мне, — шепнул он Иринке, — ты коньки р-раз — ко мне в пальто. Пальто Вадькино лежало на токарном станке.

Сколотив из трёх досочек широкую букву «Н», Вадька спросил дедушку:

— Так ведь кровати делаются? — и легонько оттолкнул Иринку от верстака.

Дедушка подошёл, покрутил кроватку в руках, усмехнулся:

— По твоим-то рукам и это гоже, — сказал он. — Конечно, надо бы в шип и на клей. И ножки выточить, и шарики на спинки, и так далее. А перекосил-то! Вот уж это зря.

Дедушка поставил кроватку на верстак.

— Видал? Качается! Спать-то на ней которая будет? — обернулся он к Иринке.

Девочка стояла у токарного станка красная, как огонь.

А коньков под верстаком уже не было!

— Зарделась-то, — сказал дедушка. Что это? За мастера стыдно?

Осторожно, чтобы не звякнули коньки, Вадька взял пальто и в вместе с Иринкой вышел из мастерской.

В глазах девочки были раскаяние и упрёк, щёки продолжали гореть.

— Ничего, Ириш! — сказал ей Вадька, одеваясь на ходу и пряча коньки под полу. — Зато жих, жих!.. Ладони его скользнули одна по другой. — И портфель достану.

Одевая коньки, Вадька вспомнил, что на Урманке каждую осень кто-нибудь из мальчишек проваливался. «Проваливался, да не тонул!» Впрочем, размышлять об этом сейчас, когда коньки уже на ногах, было поздно.

Вадька сбежал на лёд, осторожно проехался вдоль берега, потом осмелел и обогнул мостки. Лёд немножко прогибался, но держал крепко.

На берегах началось оживление.

Вадька всё дальше и дальше огибал мостки. Лёд начинал прогибаться, как плотная, туго натянутая холстина. Из отверстий, пробитых камнями, ударяла вода. Вадька знал: с берега смотреть на такое зрелище — дух захватывает. Кажется, что лёд провалится и непременно сейчас! Но кататься самому не так страшно: ты ничего не видишь и мчишься, мчишься! Только мурашки бегут по спине, да глаза горят, будто угли на сильном ветре.

Полоски от коньков доходили уже почти до середины речки. Теперь оставалось разогнаться, проскочить середину, а на обратном пути схватить портфель. Если не делать сильных толчков и не замедлять хода, то лёд выдержит и на середине.

И лёд выдержал.

Круто развернувшись у противоположного берега, Вадька помчался назад и тут увидел, что на мостках стоит и смотрит на него бабушка, а он летит прямо на неё.

Вадька присел, метнулся влево, налетел правым коньком на кирпич, споткнулся, лёд лопнул. Вадька по горло провалился в воду, едва успев выбросить руки вперёд, на края образовавшейся полыньи.

На берегах поднялась суматоха. Из всех ворот, из всех переулков побежали люди. Бабушка умоляла Вадьку дрожащим голосом:

— Держись, внучек. Держись. Люди-то не дадут, вынут. Подержись, Ваденька-а...

Такого голоса у бабушки Вадька давно не слышал.

Первую минуту держаться было легко. Но вода скоро набежала в ботинки и ноги, будто гири, потянули вниз. Потом намокло пальто, вода подобралась под мышки.

— Верёвку! Да веревку же! — кричал кто-то на берегу.

— Чего веревку-ту? — возражали ему. — Плах бы...

Дедушка с соседом шофёром притащили плаху, умостили её на льду. Она не покрывала и четверти расстояния. Чернобородый мужик вошёл на неё и метнул вожжи. Они пролетели мимо Вадьки.

— Ничё, парень! — крикнул мужик и стал сматывать вожжи. — Ты, знай, держись.

Принесли ещё три плахи, но уместить их не успели.

Снимая на ходу и отбрасывая в стороны шапку, пальто и пиджак, будто всё это горело на нём, на берег выбежал механик МТС Иван Сажин — отчим Вадима. Остановившись на секунду у самой воды, чтобы снять сапоги он чуточку отступил назад и, как летом, бросился в речку, ломая хрупкий лёд.

Следом за ним к воде подбежала Вера Егоровна — мать Вадима. Прижав кулаки к подбородку и вобрав голову в плечи, она смотрела на Вадьку дикими глазами, бледная, насмерть перепуганная.

Сажин плыл, выбрасываясь руками и грудью на лёд. Ледяной перешеек, отделявший его от Вадьки, после каждого взмаха рукой становился всё уже и уже.

— Подержись, внучек, — умоляла бабушка с мостков.

А у Вадьки ноги заносило вперёд, будто кто-то снизу, из воды, непременно хотел уложить его на спину, руки скользили по мокрому льду.

Подогнув ноги, он с силой оттолкнулся ими, дотянулся рукой до кирпича, ухватился за него, но край полыньи вдруг обломился, плачущим голосом Вадька успел позвать:

— Па-па!

— Держись, сынок, держись! — закричал Сажин и нырнул. Потом над водой показались разом две головы.

На берегу облегчённо вздохнули, заволновались, заговорили.

Сажин плыл, придерживая Вадьку за воротник и ухая при каждом взмахе.

— У-ух! У-ух!

А на другом берегу стояли Заболотные. Агата Павловна держала шляпу своего брата, указывая на плывущих, говорила громко:

— Я расцениваю это как самоубийство. Мальчик ищет смерти! Всего две недели назад он купался! Поспорил с мальчишками и нырнул вон с тех мостков. Да, да! Не зная своих действий, он ищет гибели.

— Ду-рь! Чего там он ищет, — заметили рядом. А за спиной несколько парней разом захохотали.

Заболотный взял свою шляпу и пошёл из толпы.

— Я опоздал на одну минуту, и эта минута меняет всё, — сказал он.

Иван Сажин вынес Вадьку на берег и поставил его рядом с Верой Егоровной.

Женщина опустила руки, расправила плечи, качнулась чуточку назад, будто груз какой со спины бросила, крепко обняла Вадьку, потом мужа и снова Вадьку, прижалась горячей щекой к его щеке и заплакала, тяжело дыша и вздрагивая всем телом.

— Мокрые ведь мы, Верочка, — смущённо говорил Сажин. — Мокрые да грязные. Ну-ка взпуски! — сказал он Вадьке. — А смотри-ка пар от нас!

Люди почтительно расступились перед ними.

Дома Вадьку раздели догола и принялись растирать его тело вехоткой и полотенцем, смоченными водой.

Сажину помогал раздеваться дедушка. Выскочив на кухню, он поискал что-то в шкафу, захватил нож и две луковицы:

— Закусить! Вадьке тоже поднесите...

— Поднесут, поднесут, — посулила бабушка сердито.

Но Вадьке не попало. Видимо, потому, что взрослые опасались за его здоровье.

— Не вздумай захворать, — сказала ему бабушка, провожая на полати и пеленая его ноги чем-то тёплым. Утонул бы, что тогда?

И заплакала, не выдержала.

На полатах, подогнув ноги и обняв их руками, сидела Иринка. Она, видно, до того была напугана, что даже теперь не могла улыбнуться: улыбались у неё одни губы.

Внизу дедушка аппетитно крякнул:

— Будни, а стакашку пришлось опрокинуть. Крестины, если? А ведь мог бы уйти под лёд совсем. Слышь, Вадька.

«Вот утонул бы», — подумал Вадька и только теперь, когда всё кончилось, ему стало по-настоящему страшно, даже озноб пробежал по всему телу.

Внизу хлопнула дверь, вошла Агата Павловна, сказала сухо:

— Здравствуйте.

Вадька из-под занавески посмотрел вниз. Мама отложила его брюки, которые отжимала над корытом, вытерла руки полотенцем.

— Вы должны вернуть Серёжино письмо, — сказала Заболотная и сама взяла со стола, развернула и быстро сунула себе в муфточку размокшую бумагу. — Это во-первых. Во-вторых, я ещё задержусь в Урманске, и мой дом открыт для вас в любую минуту. С Вадимкой, разумеется, я поговорю отдельно.

— Что вам угодно в-третьих? — спросил отчим, выходя из комнаты.

— О-о, вы торжествуете! — колюче-колюче заговорила Заболотная. — Я понимаю вас. А вот понимаете ли вы, что вас спасла какая-то минута, какая-то доля минуты. Сергей успел снять только шляпу, когда вы бросились в воду. Если бы опоздали вы — и мальчик и Верочка были бы сейчас у меня, а завтра в городе, у Серёжи.

— Выходит, хорошо, что я не опоздал, — спокойно согласился отчим.

— Разве дело в одной минуте? — сказала Вера Егоровна. — Неужели и Сергей думает так же, как вы?

Заболотная нервно хихикнула и вышла, хлопнув за собой дверью.

— Унесла бы тебя нечистая сила, что ли, — проворчала бабушка. Ишь ты, говорит, шляпу снял! Шляпу-то он снял, а зачем?

Отчим заглянул на полати, подмигнул ребятам, и Вадьке стало стыдно чего-то и так нехорошо на душе.

Иринка приткнулась горячим лицом к Вадькиной шее и сказала тихонько:

— Правда, Вадимка, хорошо, что папка успел первым?

А Вадьку уже уносило под лёд, в тёмную, бездонную Урманку. Он спал.

Георгий Бирюсинский

БРОНЗОВАЯ ГАЕЧКА

Перед ужином в один из пустых классов, где мы с Витькой, моим товарищем по ремесленному училищу, готовились к рыбалке, зашёл наш чертёжник, Виктор Ильич.

— Рыбалка — это хорошо. Только у вас математика хромает. Очень-то не увлекайтесь.

Чертёжник бросил взгляд на мою снасть, где нехватало только грузила, и вспомнил, как он совсем ещё недавно ходил на охоту и ставил перемёты. А уже в дверях он сказал:

— Науками, науками занимайтесь...

Витька Шубин, самоуверенный и проворный, успел крикнуть:

— Честное слово, математика у нас теперь пойдёт...

А было нам не до математики. Мы уже слышали плеск волны, нам чудился запах речного ила и запах дыма от костров, у которых не сидели с прошлого года.

Витька даже заметил:

Вон никель на дверной ручке блестит, как рыба!

Тут я с сожалением сказал:

— Грузика-то на мою удочку нету...

Витька щёлкнул себя по лбу и тут же нашёл выход из положения.

Он сбегал куда-то на нижний этаж и принёс красивую бронзовую гаечку. Только проснувшись ночью, я вспомнил, что такую гаечку приносил на урок черчения Виктор Ильич, но мы не успели вычертить, и преподаватель положил её на шкаф. Я хотел сказать об этом Витьке, да заснул, а потом забыл.

Утром я несколько раз видел Витьку с Таней Анисимовой. Эта девушка — моя односельчанка. В училище мы, когда разговаривали, вспоминали родное село. Витька тоже часто подходил к ней. Он был смелей и разговорчивей меня. Раньше Таня читала мне письма, что получала из дома, а теперь она читала ему, — со мной же только здоровалась, будто не я, а Витька был её земляком.

Перед обедом я столкнулся на лестнице с Таней и заговорил о чём-то несвязном. Скорее по лицу, чем по словам, Таня поняла меня, поправила свою голубую косынку на голове и сказала:

— Дурачок!

Повернулась и пошла.

Вечером мы с Витькой как ни в чём не бывало пошли рыбачить. Поймали трёх красивых окуней и только закинули удочку для четвёртого, как вдруг увидели одного из наших соучеников Лёню Фёдорова. Лёня рассказал, что Виктор Ильич взял гаечку на время из мастерской, где чинят станки, и теперь не на шутку расстроен пропажей, всё повторяет: «Вот так ребята!».

Я решил что эта гайка — часть от какой-нибудь машины и подумал: «Нужно скорее вернуть её. Уже не хотелось даже рыбачить. Когда Лёня ушёл, я молча потянул удочку, досадуя на Витьку.

— Видно, щука! — шепнул тот радостно, видя как натянулась леска. Я дёрнул ещё сильнее. Нитка оборвалась, и гаечка осталась на дне.

Мне очень жаль стало Виктора Ильича, но я не знал, чем помочь ему. «Конечно, признаемся, но гаечку-то откуда возьмём? Вот если бы самому сделать!».

Мы только начинали учиться, пробовали свои силы у тисков. Но в тот же вечер я пробрался к тискам и, никем не замеченный, стал работать.

Впервые в жизни своими руками вырубил из четырёхугольной пластинки шестигранную! Я был доволен и забыл обо всём на свете, как вдруг за досчатой перегородкой послышались негромкие голоса. Должно быть, Витька проболтался. Анисимова настаивала упрямым, низким голосом:

— Ты должен признаться.

— Ну вот ещё! — отвечал мой друг — мы же брали её вдвоём!

— Признайся.

— Нет... Может, ябедничать пойдёшь?

— Подумаю ещё.

Я слышал удаляющиеся Танины шаги. Потом залюбовался своей работой и задумался... «Если признаюсь, что утопил гаечку, то должен сказать и где взял её, должен, стало быть, выдать товарища. Нехорошо. Лучше сделать сначала эту гайку, тогда признаться...»

Гаечка была почти готова. Аккуратная, блестящая...

Утром я узнал, что меня ищет Анисимова. «Ага! — сообразил я, — она хочет меня агитировать, как будто я не знаю, что делать! Получится, что послушал её уговоров. Не-ет!»

В нашем огромном здании, похожем на завод, можно легко избежать встречи. Целый день искала меня Таня.

Когда она обедала, я стал доделывать гаечку, но вспомнил, что не знаю размеров. Все планы мои рушились. И хотя было очень стыдно, пришлось подойти к Виктору Ильичу и рассказать, как было. Он поругал меня, упрекнул за нечестность, но, хмурясь, помог. Когда гайка была уже готова, он, следивший за мной из-под очков, вдруг засмеялся:

— Чистая работа. Молодец!

Мы поспешили в мастерскую, откуда Виктор Ильич брал части для уроков черчения. Таня, злая и чем-то озабоченная, была там вместе с ребятами. Мастер вертел в пальцах золотистую гайку, похожую на мою.

— Немножко не подходит, — сожалел он. — Вот, Виктор Ильич! Анисимова принесла — да маловата.

Примерили мою. Она подошла как раз.

Закурив, Виктор Ильич сказал:

— Нет, брат, математикой пренебрегать нельзя. Расчёт в машиностроении — это главное!

Таня Анисимова взяла свою гайку, которую, как оказалось, тоже тайком изготовила, посмотрела на меня очень добрым взглядом и вышла так тихо, что её уход заметил я один...

Валентин Губин

НА ЛОВЕ

Вот и пришёл июль, когда на Иртыше появляются первые косяки нельмы. Косяки эти идут на нерестилища с севера, из Обской губы.

Вынув из сети нельму, Сергей положил её на дно лодки. Восемькилограммовая нельма голубела, как гребень лёгкой волны, вздрагивала, топорщила золотые плавники, теряла свой голубой оттенок и становилась похожей на алюминиевый слиток.

Спустя полчаса рыбак заметил, что из заводи выпрыгнуло в реку несколько крупных рыб. Звук от падения подсказал Сергею, что это не щука. Щука не бьёт по воде так глухо, словно ладонью, она резко режет воду. Сомнения не было — «играла» нельма. Вытащив конец мелкоячеистой сети-чебачки, разбухшей от небольших рыбок, Сергей принялся быстро грести к берегу, поросшему кустарником и деревьями.

Лодка с разгона вползла на прибрежный песок. Сергей торопливо выбрал сеть и пошёл к стану.

Над тальниками показался дымок, ветер колыхал его.

«Варит обед», — подумал Сергей о своём напарнике, Степане Завозкине. Степан был инвалидом Отечественной войны, пуля искалечила ему руку. Сергей готовился идти в армию и подолгу слушал рассказы отслужившего солдата.

Когда Перевалов подошёл к костру, уха и в самом деле была уже готова. Завозин посматривал то на солнце, определяя время, то на котелок с ухой.

— Как раз поспел, — сказал он, увидев Сергея, и весело двинул белёсыми бровями.

— Нельма пошла! — сообщил Сергей.

Завозкин осторожно поставил котелок на землю и не спеша ответил:

— Пообедаем, да и сети набирать будем.

— Можно бы и без обеда. Момент, — возразил Сергей.

— У тебя всегда момент. Вот только совета послушать времени нет. Сколько раз говорил, чтобы срезал пуговицы с рукавов. Зацепится сеть за пуговицу и выдернет из лодки. В момент выдернет.

— Тонуть не собираюсь. Пойдём, посмотрим, какая нельмуха у меня в лодке! На полпуда.

— Что я рыбы не видел... Садись обедать, непоседа...

С острова, где со вчерашнего дня начала работать сенокосная бригада колхоза, ветер принёс песню.

Голос был совсем незнакомый. Сергей взглянул на зеленеватые кудри мелких прибойных волн и ему вспомнилась Соня. Он встретил её в колхозном клубе. Было много нарядных девушек, а она, не очень нарядная, показалась ему самой видной, красивой. Сергей пригласил её, они танцевали. Не успели поговорить, как открылись двери в зрительный зал и начался киносеанс. Кинокартина шла очень долго, и как хорошо было ощущать, что рядом сидит светлая, стройная девушка по имени Соня.

Провожая девушку домой, Сергей узнал, что фамилия Сони — Радкина, что она работает швейей в промартели имени Жданова в Тарске и приехала в колхоз в гости к старшей сестре Анисье Потаповой, бригадиру овощеводческой бригады. Сергей знал Анисью и никогда не подумал бы, что у этой плечистой, грубоватой, смуглолицей женщины может быть такая тоненькая светловолосая сестрёнка.

Соня с осени хотела поступить в вечернюю школу рабочей молодёжи, а Сергей уже учился там и мог рассказать ей, кто из преподавателей строг, кто добрее.

В следующий раз они встретились на улице, поговорили о чём-то, Сергей даже не помнит о чём, и Соня пообещала придти в библиотеку в десять часов вечера.

Сергей ждал с семи, перелистал все журналы, а без десяти десять библиотекарьша сказала, что закрывает читальню. Сергей ещё походил на улице, посидел на крыльце и раздосадованный ушёл.

Они встретились с Соней только через неделю, случайно, на улице, и Соня сказала ему:

— Уж не мог подождать немного. Я пришла пятнадцать минут одиннадцатого.

Черная горячую уху, Сергей всё это вспоминал и даже не слышал, о чём говорил напарник.

... — Тогда, бывало, в каждой тоне десятков, а то и два крупных нельм тягали и осетры встречались с доброго телка, — говорил Степан. — Да ты, брат, не слушаешь как есть ничего?!

— Слушаю...

— Сказывай... Девчонка на уме. Знаю.

— Что вы, Степан Иванович. Никого у меня нет!

— А хотя бы и есть. Если ты ей, она тебе — верите, значит, и хорошо...

— Что вы говорите...

— Вот в армию пойдёшь, мир охранять будешь. Там для тебя другая жизнь настанет, а ты её, девчонку-то, помни. Письмо от неё — радость. Для всего отделения праздник. И служить легче и двигаться вперёд силы больше. А двигаться вперёд у нас при любом деле обязательно. Как на воде: если не двигаешься — ко дну. Вот уже я — и лет мне немало, и инвалид, а думаю двигаться — пойду зимой на курсы бригадиров по моторному лову. Такая, брат, жизнь наша — хотя у рыбака, хотя у солдата — вперёд и вперёд. Так-то... Вот теперь и сеть пора набрать...

Сплавную сеть на сто пятьдесят метров длиной набрали молча.

Быстро звякали колечки присада, коричневые, осокоревые наплавы были легки, как пробка.

Лоток с горкой сети был установлен поперёк лодки, ближе к корме. В корму сел Сергей, взял рулевое весло. Степан в чёрном комбинезоне и в шлеме старого красноармейского образца сидел за вёслами и был похож на древнего русского воина из учебника по истории. От просмоленных, влажных бортов лодки рассыпались стружки волн. Завозкин отсчитал семьдесят пять взмахов вёслами. Сергей повернул лодку против течения и выкинул лёгкую белую банку, похожую на рыбу сорогу. Речная струя подхватила снасть, сеть, рассыпаясь, побежала с лотка. Описывая полукруг, лодка тихо плыла к берегу.

Солнце то скрывалось в серых тучках, то вырывалось на голубой небосклон и тогда вода окрашивалась в разные цвета.

Сеть шла коробом, процеживая реку. Пунктир наплавов терялся у острова. Завозкин грёб бесшумно, лодка шла тяжело. Промысловые пески тянулись на несколько километров. Кругом было тихо... Вдруг возле банки ударило, наплавов потонули, и тут же рыба плеснулась уже далеко за сетью.

— Сам! — сказал Стёпа тихо.

— Ушёл! — вздохнул Сергей, догадавшись, что это был сильный гонец косяка нельмы. Несколько щук собачьи перепрыгнули по воздуху через сеть. Потом снова недалеко от лодки утонуло три наплова.

— Клюёт,— прошептал Степан. Тут же наверх всплыла, подняв сетную дель, рыба и через мгновение снова погрузилась в воду. Завозкин вёслами поставил лодку кормой к тому месту, где рыба ушла вглубь, и Сергей увидел её; лишь несколько ячеек сети держали нельму за челюстную связку. Рванувшись вверх, рыба порвала эти последние целые нити, и течение выбросило её из воды. Сергей метнул багром, и вот на дне лодки уже лежит нельма. Рот её широко раскрыт, грудка лоснится жиром, бок сверкает на солнце.

Рыбаки торопливо вернулись и стали выбирать за поводок сеть. В сети было семь больших нельм и полдюжины добрых язёй. А следующие тони были ещё богаче. Рыбаки работали быстро, возбуждённо, но один раз они слишком далеко, на непроверенное место, бросили сеть и попали на зацеп. Долго бились, но оторваться не могли, и кусок сети пришлось обрезать. Поехали к берегу, набрали новую сеть.

Опускалась ночь, дул свежий ветер, тучи становились темнее, гуще, и Степан предложил кончать рыбалку.

— Поплывём,— проворчал Сергей и с силой оттолкнул лодку от берега.— В такую погоду может быть самая добыча.

И в самом деле, вскоре в сеть попался осётр. Сергей ловко замотал его верёвкой и перевалил в лодку. Рыба рвала ячейки, но было уже поздно: её опутали верёвкой.

Сергей торжествующе посмотрел на Завозкина:

— Пуда на три чебачишка.

В темноте оскаливались белые валы. Лодку сильно бросало, а вскоре снова занесло на зацеп, на тот самый, где рыбаки уже оставили кусок сети. Пришлось выбирать снасть.

Сергей едва успевал ставить лодку поперёк высоких волн, вычерпывать тесом воду, переливавшуюся через борта и ещё тянуть туго подававшуюся сеть. Работал он молча, не подавая голоса Степану...

Казалось, силы его утроились, и он почувствовал, как зацеп дрогнул и подался к нему. Должно быть, волны помогли раскачать и зацеп.

Вскоре рука Сергея упёрлась во что-то скользкое, это и был «тепьяк» или «зацеп» — набухшая, замытая речным песком коряга.

И вдруг раздался треск. Завозкин беспомощно взмахнул обломком весла, лодку круто повернуло и накрыло волной...

Сергей пошёл ко дну: зацепившаяся за рукав сеть тянула его вниз. Сергей вспомнил о пуговицах на рукавах пиджака и свободной рукой, задыхаясь, ломая пальцы, оторвал сначала одну, а потом другую.

Всплыв на поверхность, он широко схватил ртом воздух и подумал: «Теперь всё. Теперь выплыву, не в первый раз».

Плыть было очень тяжело, волны то и дело били его в голову, одежда не давала свободно взмахивать руками, а сапоги, словно камни, оттягивали ноги. Но то, что он освободился от сети, было уже спасением.

Добравшись до берега, Сергей долго соображал, где он находится. Но потом луна осветила высокую иву с тремя стволами, и он понял, что стан недалеко слева...

«Отдохну и пойду в стан», — подумал Сергей. И тут с тревогой вспомнил: «Степан! Как-то он выплыл?!» Сергей пытался успокоить себя: выплывет... у него ведь на рукавах пуговиц нет, может, он в своей лодке остался, с одним веслом управится... Может быть, его и не выбросило...

Сергей пошёл к стану... хотел вылить из сапог воду, но взглянул на реку, где, словно зимняя метель, бушевали волны, снова подумал о Степане и, торопливо хватаясь за ветви и камыши, быстро побежал...

Вот и знакомый бичевник, на котором каждый бугорок, каждый кустик Сергей легко узнаёт и во тьме.

Вот и землянки, в которых живут рыбаки.

— Степан! — позвал Сергей, откинув полог, прикрывающий вход...

Ветер сильно хлестнул брезентом...

— Степан! — крикнул Сергей снова, заглушая вой ветра. Никто не откликнулся. В темноте Сергей шарил по землянке. Может быть, выплыл Степан, изнемог или даже лежит без чувств. Потом нашёл на камельке спичку, засветил.

Землянка была пуста... Сергей опустил на пол, долго сидел не шевелясь и всё ещё не понимая, что же произошло. Неужели Степан погиб.

Ночь прошла в тяжёлом забытьё. Сергей вскакивал, прислушивался, ему казалось, будто Степан входит в землянку, что он стонет где-то поблизости, на берегу.

Утром буря улеглась. Берега реки, омытые волнами, посвежели, зелень деревьев, кустов, трав как будто-бы заново распустилась, и только вода в реке всё ещё оставалась мутной и вздрагивала мелкими волнами.

Сергей глядел в эти волны, угадывал на реке место, где вчера перевернулась их лодка, и всё время перед ним вставало лицо Степана, таким, как он видел его вчера, в обед, когда они ели уху и говорили о жизни.

С рассветом Сергей вышел на берег и, чтобы лучше видеть реку, спустился верхним увалом вниз по течению. За протокой кверху дном лежала их лодка с оборванным куском сети...

Степана не выбросило...

Страшно стало Сергею. Это ведь вчера он настоял на том, чтобы ещё и ещё забрасывать сеть... Вернулись бы во-время, до бури, и сегодня, не зная беды, с лёгким сердцем снова плыли бы по реке...

Как ни тяжело, а надо идти в село, рассказать там о случившемся, просить катер, чтобы баграми искать тело Степана...

Трудно будет смотреть людям в глаза, трудно и оставаться одному.

Сергей побрёл по тропинке, которая должна была вывести на большак. Шёл и всё повторял про себя:

— Степан Алексеевич, как же это, а?

Тишину раннего утра нарушил стук мотора. Сергей прислушался и узнал резкие хлопки леспромхозовского катера...

«Побегу к берегу, остановлю катер, — решил Сергей. — Там, на катере, друзья, товарищи Степана, может быть, они помогут поискать. Снасть, багры у них всегда с собой, прощупаем всё дно, до самой протоки, где вынесло лодку...»

Но катер вёл себя странно — шёл, останавливался, поворачивал то к одному берегу, то к другому... Что это они? Будто чего потеряли...

Сначала катер выглядел словно небольшой жук, ползающий по поверхности реки, но чем ближе подходил к нему Сергей, тем отчётливее вырисовывался чёрный столбик трубы над рубкой и силуэты людей на носу и корме...

«А ведь это они Степана ищут, — догадался Сергей, разглядев над головой человека тонкий, едва видимый шест — баграми шупают».

Только откуда они знают, что Степан тут. А может быть, они нас обоих ищут?

Сергей остановился в кустах, ожидая медленно приближающийся катер. В этот момент он подумал, что, может быть, и в самом деле ему лучше было бы тоже утонуть вместе со Степаном, чем рассказывать людям, как сам спасся, а Степан погиб.

Пересилив себя, Сергей шагнул вперёд и, подняв руку, протяжно крикнул:

— Е-ей...

На катере произошло замешательство... Сергей видел, как кто-то замахал обеими руками, все сбежались на нос...

Сергей потупил глаза, а когда снова взглянул на катер, обомлел: на носу, без фуражки, в расстёгнутой рубахе, стоял Степан...

Катер ещё полз тупым носом по прибрежному песку, а Степан уже стоял перед Сергеем.

— Жив, значит, а я всем рассказываю. Сам видел, как его сеть утащила за собой... Пережил-то... и не рассказать. Человека, думаю, загубил, постарше, чай, на мне ведь ответственность. Солдата загубил. На дне искали, а живого встретили. И порыбачим ещё, и послужим в армии. Всё ещё будет, всё...

Они крепко обнялись...

*Б. Милочевский, Н. Почивалин,
А. Шубин*

РУССКАЯ ТРОПИНКА

ДРАМА В 4 ДЕЙСТВИЯХ, 8 КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Александр Петрович Костиков-Алмазов — изобретатель-самоучка (в 1 акте ему 22 года).

Пётр Иванович — его отец.

Ольга — 17 лет, } — сёстры Александра Петровича.

Анна — 15 лет

Семёнов Кузьма Семёныч — слесарь, сосед Костиковых.

Сергей Николаевич — генерал-губернатор Степного края, впоследствии сенатор.

Елена Фёдоровна (Эллен) — его жена.

Илларион Иванович — чиновник особых поручений при генерал-губернаторе.

Андреев-Бурлак Василий Николаевич — русский актёр.

Пётр Дмитриевич — театральный парикмахер.

Гриша — актёр.

Граф Замойский.

Графиня Замойская

Пожилой гость.

Константин Михайлович — гость.

Дама.

Старый лакей

Ручин Ефим Лукич — столяр.

Де-Вогюэ — академик.

Фай — профессор, | — члены жюри на Парижской выставке.

Барон Розен |

Андреев — комиссар Русского отдела на выставке.

Бастиен — секретарь русского отдела.

Карт — представитель американской фирмы «Роберте и сыновья»,
член жюри на выставке.

Корреспондент «Петербургской газеты».

Фон Швингер — чиновник императорской инженерной академии в Петербурге.

Глушков — инженер.

Абросимов Николай — рабочий, помощник Костикова в Академии, лет 27-ми.

Гости у Замоиских, члены жюри на выставке.

Действие происходит:

I акт — в Омске, в 1877 году,

II акт — в Павловске под Петербургом в 1888 году,

III акт — на Всемирной выставке в Париже в 1889 году,

IV акт — в Петербурге, в 1902 году.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Омск. Лето 1877 года. Двор дома Костиковых-Алмазовых в Ржевской слободке. Слева, на переднем плане, — угол дома, выходящий крыльцом во двор. Дощатый забор, в глубине справа — сарай, за ним — недостроенная часть лесопилки. В заборе — калитка, выходящая на улицу. Вид на противоположный берег Иртыша. Солнечный день. На крыльце Ольга и Анна чистят картошку.

Ольга (*продолжая разговор*). И добрый, и умный. И не ври, не загордился он вовсе — какой был. Грустный он ходит, а может злой — вот и молчит всё. Сама знаешь почему...

Анна. Нет, — он сам-то не злой...

Ольга. А я что говорю?

Анна. И папенька тут тоже ни при чём. Он ему сам вчера весь день помогал; я слышала, говорит: «Давай я с насосом ездить буду, время-то тебе дневное нужно в сарае заниматься» — это чтоб Алёша на чертежах лесопилку заканчивал. (*Пауза.*) К купцу пошёл?

Ольга. К Вахрушеву. Да напрасно... Сам папенька так думает, что зря. Алёша его долго уговаривал, а отец говорит: «Всё равно, где купцу понять, как это будет всё». С лесопилкой-то.

Анна. А мне вот сегодня всё как-то представляется, что непременно удача должна быть.

Ольга. Ты перекрестись — не будет представляться.

Анна. Нет, верно. Я и сон-то такой видела, будто иду это я по полю и вокруг меня цветы разные вырастают. Гляну направо — всё ромашки. Налево — незабудки.

Ольга. А прямо — розы, небось? *(Смеётся.)*

Анна. Не смейся. *(Мечтательно.)* Только навстречу вдруг мне — корова. Большая такая, толстая, пёстрая. И на рогах у неё тоже цветы венком.

Ольга. Корова — это что же — купец что-ли?! *(Смеётся.)*

Анна. Ну вот — всегда ты насмехаешься. Корова — это к счастью, это все знают. А ещё с цветами...

Ольга. Ты картошку-то чисть. Это тебе не ромашки, не сон, — обедать скоро...

Анна. Картошка, картошка... Каждый день её чисти, чисти...

Ольга. Ну, ешь нечищенную, мне что...

Анна. Вот — гнилой-то сколько. *(Запускает гнилой картофелиной.)*

Входит Алексей. Он мрачный. Проходит в сарай. Ольга подходит к Алексею с книгой.

Алексей. Чего тебе?

Ольга. Вот, Алёшенька, Ахрамовичи через забор перекинули. Сказали — тебе...

Алексей. Учебник механики? Та, что я у них столько раз спрашивал...

Анна *(с крыльца)*. А ты что им отдал за неё?

Алексей. Что дал — того уж нет. Тебе-то что? Мельницу со свистком...

Анна. Так и знала. Самое хорошее — всё им. Вот и самокат давеча променял. Уж как я просила.

Ольга *(подходя к ней)*. Променял — значит так и нужно было. Не приставай к нему. Забирай ведро. *(Уходят в дом.)*

Пауза.

Алексей (*перелистывая книгу*). Вот она — техническая мудрость, без которой — только по-отцовски — бочки мастерить.

Отец вышел на крыльцо, слышит последние слова сына.

Пётр Иванович. Ну что ж, Алексей, и бочки по-отцовски мастерить не так просто. Не даром, не попусту отца твоего люди Алмазовым прозвали. Верно, механики для этого не надо, мудрости тоже большой не требуется: сноровка да опыт, навык да расчёт, глаза да руки...

Алексей. Не обижайтесь, отец. Это так, к слову пришлось.

Пётр Иванович. А ты словами зря не бросайся. А что образования ты не получил достаточного — так кто из товарищей-приятелей твоих тебя образованней? Вон — сам до чего доходишь — весь сарай под мастерской, да и книжки в руках. Я тебе не мешаю, читай, учишься, мудри в сарае-то — всё на пользу это. Вырастай, сын — вот и моим бочкам конец придёт. (*Пауза.*) У купца был?

Алексей (*хмуро*). Был.

Пётр Иванович. Ну?

Алексей. Не согласен купец.

Пётр Иванович. Так... Не получилось, значит?

Алексей. И слышать не хочет. Достраивайте, мол, сами, я потом погляжу. Ежели доходы будут обеспеченные — в долю войду. А рисковать капиталами преждевременно не желаю, не верю я в затею эту. Когда дело выйдет — приходи. Вот тебе и Вахрушев. Напрасно я ему и так и эдак — и на насос ссылался — доказывал, вот, мол, — тоже не верили. А он мне: «Что твой насос! Редкий случай, что он понадобится...» И верно.

Пётр Иванович. Что верно-то?

Алексей. Про насос верно. За последнюю неделю — один раз целковый заработал — в лабазе. А тот же Вахрушев говорит: «Воды у меня маленько набралось, обожду. Малая вода товар не портит».

Пётр Иванович. Нет, ты от насоса не отмахивайся. По осени снова откачки много понадобится. Насос — правильное дело. И деньги и уважение. Нет, ты этим делом не брезгуй.

А л е к с е й. Нет, отец — без лесопилки нам не выбиться. Но самим нам её не достроить — не на что. А купцы боятся, не верят — ведь самим же польза, а не верят, — вдруг деньги ихние пропадут. *(Пауза.)* Если продать им то, что начато? Купить — купят. За гроши. На слом. Так ведь это — без пользы. Вот что обидно.

Пётр Иванович. Конечно, по справедливости — зря на слом. Выходит, раньше-то подумать надо было покрепче, прежде, чем строить начинали, — семь раз отмерить. А ты мне всё книжками доказывал: «Так, мол, и так, только начнём — вокруг все пользу оценят, помогут...» Помогли. Не даром я к книжкам-то с сомнением подхожу, да и в сарай твой редко заглядываю. Но вот ума не приложу — к какому же сословию ты себя готовишь? На завод работать не идёшь, но ремесло тоже от себя не гонишь. Не чудишь ли, а? Как бы пустоцветом не обернулись твои занятия, механика-то эта самая? Ведь жениться парню пора, а он...

Анна и Ольга выбегают из дома.

Анна. Папаша! Господин какой-то к дому подъехал... Открывайте, говорит...

Пётр Иванович. Что такое? Не пойму.

Ольга. Приехал... важный такой... кучер в окно стучит, к вам, говорит... к нам, значит...

Пётр Иванович. Может спутали?

Анна. Чего спутали? Костикова спрашивают...

Алексей открывает калитку. Входит чиновник.

Чиновник. Мне нужно видеть господина... э-э-э Костикова.

Пётр Иванович. Костиков я и есть. Да чего же во дворе-то... Пожалуйста, ваше благородие, проходите в дом...

Чиновник. Э-э... пожалуй, не стоит... Здесь, так сказать, на свежем воздухе...

Пётр Иванович. Ну, на крыльцо хоть, ваше благородие. Ольга, табуреточку смахни, подставь... прошу вас...

Чиновник. Да, да... Так вот, господин Костиков, я прибыл по личному поручению его превосходительства... э-э... господина генерал-губернатора. Его превосходительство... поручил мне... э-э...

Пётр Иванович. Их превосходительство?... И ума не приложу...

Чиновник. Его превосходительство поручил мне поговорить с вами и выяснить. Вы ведь... э-э-э... изобретатель?

Пётр Иванович. Ваше благородие, да что вы, — отродясь этим не занимался. Зачем же выяснять-то... Бочки моё дело — это точно, так, поскольку я бондарь. Это уж не сомневайтесь, сделаю — как алмазом.

Чиновник. Постойте... Какие бочки? Ничего не понимаю... Ведь вы Костиков?

Пётр Иванович. Так точно. Костиков-Алмазов. Народ меня Алмазовым прозвал за бочки...

Чиновник. Фу ты господи, — опять бочки... Я вас спрашиваю — вы Костиков, который насос сделал?

Алексей (*выступая вперёд*). Я сделал.

Чиновник. Ах вы? А это кто?

Алексей. Это мой отец, ваше благородие.

Чиновник. Впрочем это неважно, отец или сын — мне всё равно. Дело в том, что его превосходительство пожелали ознакомиться с устроенной вами насосной машиной... э-э... А почему я прибыл с распоряжением... Его превосходительство требует вас к себе... чтоб вы прибыли к нему... С насосом.

Пётр Иванович. Понимай, Алёшка...

Алексей. Да, да... Сейчас... Только как же — насос? А модели? Ваше благородие... Разрешите мне вам сейчас показать — может посоветуете, что ещё захватить с собой... Не только насос — господин генерал-губернатор может быть ещё чем-нибудь заинтересуется... Ведь это судьба решается... (*Побежал к сарию*).

Чиновник. Какая судьба? Какие модели? Послушайте э-э... как вас... Костиков, — куда вы?

Алексей. Вот, ваше благородие, взгляните...

Чиновник. Ну, если это недолго...

Анна (*тихо Ольге, совершенно серьёзно*). Вот она — корова с цветами...

Алексей (*показывая одну из моделей*). На винокуренном заводе работал — приспособил вот усовершенствование: устройство для заторов, — честное слово, польза большая купечеству... Конечно, — это ещё несложная механика, но знаний нехватает, учился мало... Если б на больших заводах побывать, машины посмот-

реть, учиться бы... Вот мог бы господин генерал-губернатор в этом помочь?

Чиновник. Его превосходительство всё может...

Алексей. А вот два колеса — для передачи силы в механизмах. Тоже для заводского дела очень нужное приспособление.

Чиновник. Весьма, весьма... э-э..., оригинально.

Пётр Иванович. Лесопилку вот по своим чертежам строить начал. Вот, ваше благородие...

Чиновник. Я его превосходительству доложу... однако советую поторопиться...

Алексей. Да, да... сейчас, сию минуту... Оля, Аня... Тележку давайте.

Пётр Иванович. Да чего же вы стоите — помогайте, девки, живее. *(Помогают Алексею поставить на тележку насос.)*

В это время входит Семёнов.

Семёнов *(входя)*. Алексей Петрович, я к тебе. *(Увидел чиновника.)* Виноват, ваше благородие...

Чиновник. Э-э-э... Кто это?

Пётр Иванович. Сосед, ваше благородие... Рядом живёт, жестяным ремеслом занимается...

Семёнов. Принёс заказчик вещичку, так в сомнении... Вот к Алексею Петровичу посоветоваться и пришёл — мастак он по этим делам...

Чиновник. Мастак? э-э-э... Кэскэсэ — мастак? Господа, я тороплюсь... Костиков, прошу следовать за мной... э-э... С насосом. *(Выходит в калитку.)*

Алексей. Не задержусь, ваше благородие.

Выезжает с тележкой, сёстры ему помогают. Ушли. Остались Пётр Иванович и Семёнов.

Пётр Иванович *(вслед им)*. Ну, дай бог, дай бог, счастливый путь... *(Семёнову.)* Алмазовская порода в ход пошла... Дай бог... Вот, не думали, не гадали — само привалило.

Семёнов. Чего привалило-то? Не пойму?

Пётр Иванович. От генерал-губернатора, нарочный чиновник. Затребовал к себе — сам, с насосом и прочими делами. Вот оно что!... Значит, дошёл до него

слух-то об Алёшкином таланте. Чиновник говорит: «Выяснить!» Это понимать надо — что к чему. И говорит ещё: «Их превосходительство всё могут». Чуешь?

Семёнов. Да.. Чудно что-то.. Выяснить? Вот оно как!.. Ну что ж бывает.. Кому — горя кусок, кому — денег мешок... Только не верится мне что-то...

Пётр Иванович. Чего же не верится? «Их превосходительство всё могут». Раз он поинтересовался — то к чему? Помощь оказать — не иначе. Это тебе не купцы, не Вахрушев — размах-то во какой!..

Семёнов. Что-то губернаторский размах нам с другой стороны известен. Не слышано было досель, чтобы этот жандарм нашему брату помогал.

Пётр Иванович. Эх, Кузьма Семёныч, поперечный ты человек. А я скажу — никто, как бог... Он правду видит...

Семёнов. Да не скоро скажет!.. Поперечный, говоришь? Жизнь-то я прожил — как и ты. А сколько я этой божьей правды видел? Перепробовал я за жизнь-то многова. На пристани мешки таскал, паром тянул, чужое добро в лабазах сторожил. Теперь вот по городу хожу — дырки паяю. Да нешто их все запаяешь? И где я — на какой улице твою божью правду встречал? А ты всё стараешься за хвост уцепиться, а прок-то какой?

Пётр Иванович. Эх, злости много в тебе, Семёныч, — вроде как ржавчиной она тебя проела.

Семёнов. Ржавчина, говоришь? Нет, злость моя, — не ржавчина. Может, я злостью этой только и жив. Накипает она у меня, когда я на эту божью правду смотрю. Вот и жди её от губернатора.

Пётр Иванович. Так ты что, не веришь что генерал-губернатор за Алёшей прислал? Не верь, твоё дело...

Семёнов. Этому-то почему не поверить. Сам видел подручного его. Ясное дело, не зря.

Пётр Иванович. Вот, вот, ведь не всё большой человек, наверх смотрит, а может и вниз, на нас, маленьких, взглянуть, да обласкать, да помочь. А ну как поворот-то и произойдёт, Алёша-то в люди и выйдет? Может, и наша свечка у бога не последняя...

Семёнов. Наша свечка — трёхкопеечная...

Занавес

КАРТИНА ВТОРАЯ

Кабинет генерал-губернатора. Сергей Николаевич — в халате, за огромным письменным столом. Перед ним стоит Алексей У стола, в почтительной позе — чиновник особых поручений.

Сергей Николаевич (к чиновнику). И вы всё видели, что он тут рассказывает? Эти... как это?... модели?

Чиновник. Так точно, ваше превосходительство. В небольших размерах. Бегло осмотрел, ваше превосходительство. В сарае.

Сергей Николаевич. В сарае? Это зачем же в сарае?

Чиновник. Там у него нечто вроде мастерской, ваше превосходительство. Для изготовления.

Сергей Николаевич. Гм... (Алексею.) Ты — мещанин?

Алексей. Да.

Сергей Николаевич. А где ты... как это?.. получил образование?

Алексей. Окончил городское четырёхклассное, а больше нигде.

Чиновник. Он, повидимому, самоучка, ваше превосходительство.

Сергей Николаевич. Повидимому? Гм... Да. Ну и как ты это... дошёл, а? Вот насос — и так далее?..

Алексей. Я раньше на заводе работал. Недолго, правда. Старался изучать действие машин, их устройство. Конечно, без науки это мне не удалось в полной мере...

Сергей Николаевич. В полной мере? Ха-ха-ха!... Для этого, братец, нужно быть... как это... инженером, учёным человеком. Для этого городского училища как будто маловато, братец!..

Чиновник почтительно смеётся.

Алексей. В третьем году приезжали в город топографы...

Сергей Николаевич (нахмурился). Это какая типография? Ты это про что?!

Алексей. Я говорю — топографы, землемеры то есть.

Сергей Николаевич. А-а! Ну да, ну да...

Алексей. Я им по их работе — инструменты носил. Хорошие люди оказались, помогли мне. Книжки давали читать, а что мне непонятно было, то господин Вышеславцев, главный у них был, объяснял мне. Как в чертежах разбираться и прочее. Недостаточно это, конечно. Мне бы, ваше превосходительство, учиться — одна мечта.

Сергей Николаевич. Мечта непохвальная. Она, так сказать, отвлекает от труда... и от скромности. А скромность и труд — как это? — да, добродетели! И со студентами этими, вот именно, с землемерами — поменьше...

Чиновник *(улыбаясь)*. Они «добродетели» научат, ваше превосходительство.

Сергей Николаевич. Вот именно! Это тебе ни к чему... Полезную работу ты и так производить можешь. А вот — вместо этого в сарае... как это?.. модели, какие-то игрушки мастерить... К чему, а?

Алексей. Как к чему? Мне охота такую машину сделать, чтобы польза от неё и мне и нашему городу была. Вот старался лесопилку построить. Но для этого средства нужны, а какие у нас средства...

Сергей Николаевич. Вот то-то и есть. А ты, братец мой, по одежке протягивай... как это?..

Чиновник. Ножки, ваше превосходительство...

Сергей Николаевич. Вот именно!

Алексей. Я купечеству хотел предложить, к купцу Вахрушеву обратился...

Сергей Николаевич *(к чиновнику)*. Какой же это Вахрушев?

Чиновник. Второй гильдии, ваше превосходительство. Мука — крупа...

Сергей Николаевич. Да, да, знаю. Борода у него такая... Видел бороду — а? *(Смеётся.)* Ну и что же он?

Алексей. Не согласился. Отказал. Вы, ваше превосходительство, не подумайте, что я о выгоде какой заботился только для себя.

Сергей Николаевич. Вот, потому купец и отказал. Значит, и ему это невыгодно. Вот именно. Да и я бы тоже на его месте. Где тебе лесопилку-то! Посмотри на себя — наука, брат, нужна. А кто науку-то понимает? Профессора, братец, ну там — академики, действительные статские советники, генералы... Они может быть для

этого за границу ездили, у иностранных учёных занимались, в университетах... вот именно, на разных факультетах... а ты что? — Сверчок?

Входит Э л л е н, жена губернатора.

Э л л е н *(в волнении)*. Ах, Серж, — это ужасно!

Сергей Николаевич. Ужасно? Не понимаю... Что ужасно? Где ужасно?

Э л л е н. Моя Зизи... Неужели это тебя не трогает?.. Зизи так взволнована...

Сергей Николаевич. Зизи? Взволнована? Как это?..

Э л л е н. У неё может быть нервное потрясение от испуга... Она забралась под кушетку и жалобно стонет... Просто сердце разрывается... Я боюсь, что могут начаться судороги. *(В отчаянии.)* Ах, Серж, — это, наверное, очень опасно — как ты думаешь?

Сергей Николаевич. Но почему же судороги... как это... под кушетку? Что случилось?

Э л л е н. Она вышла погулять с Дуняшей и была потрясена видом этой ужасной машины, что стоит во дворе... Дуняша говорит, что с ней чуть истерика не случилась.

Сергей Николаевич. С кем?

Э л л е н. Ну, конечно, — с Зизи... Боже, какой ты непонятливый...

Сергей Николаевич *(Алексею)*. А — это, наверное, твой насос! *(Хохочет. К Э л л е н.)* Дорогая моя, — в этом нет ничего страшного... Пусть Дуняша успокоит собачку... Это, моя дорогая, — насос для откачки воды... Вот — изобретатель... машины — как это?..

Чиновник. Костиков, ваше превосходительство.

Сергей Николаевич. Вот именно. Изобретатель водяного насоса. В моём городе... А скажи, Костиков, — почему твоего насоса собака испугалась?

Алексей. Собака не человек, ей простительно.

Э л л е н. Я уверена, что он испугает и человека...

Алексей. Конечно, бывают люди глупее животных...

Э л л е н. А зачем же вы притащили сюда этот насос? Кто вам позволил?

Сергей Николаевич. Исключительно для тебя, дорогая!..

Э л л е н. Для меня?!

Сергей Николаевич. Ну, разумеется... Кто же жаловался, что в нижнем этаже дурной воздух от сырости? А сырость — от подвала. А в подвале, вот именно, — вода. Вот, Илларион Иванович и позаботился.

Чиновник почтительно кланяется.

Э л л е н. Но нужно было предупредить. А то так напугать Зизи... А если будут последствия? (*Уходя.*) Не забудь, что нам скоро ехать к Семёным, а ты ещё не одевался.

Уходит, чиновник её провожает.

Сергей Николаевич. Так вот, Костиков... Изобретатель — это хорошо. Только — смотря что?! Чтоб не было никаких... как это... мыслей! Вот именно.

А л е к с е й. Так ведь прежде, чем сделать, — подумать надо.

Сергей Николаевич. Думать можно. Но — мыслей — чтоб никаких! И книжек разных... Не всякую книгу следует читать. Вот есть прекрасная библиотека в попечительстве поощрения... как это... трезвости... Вот откуда можно брать книги...

А л е к с е й. Мне технические книги нужны. А в попечительстве таких нет...

Сергей Николаевич. Нет, там много разных... Конечно, таких вот, как у меня... (*Выходит из-за стола к книжным шкапам.*) Здесь вот много научных... Ну, это для образованных людей, тебе и не разобратся. (*Пробует открыть шкаф.*) Да, заперто... фу, ты — так и не сделали ключа... Потерял я в прошлом году ключ, вот именно.. Всё собираюсь приказать позвать слесаря.. Ты можешь открыть?

А л е к с е й. Конечно, открыть можно, только слесарный инструмент нужен...

Сергей Николаевич. Вот именно. Очень хорошие книги... Ну, ничего, пусть стоят запертые... Не в этом дело...

А л е к с е й. Они, конечно простоят у вас, ваше превосходительство, без всякого беспокойства...

Сергей Николаевич. Вот именно... Я и говорю... Чтоб не было никакого беспокойства... Поэтому, — чтоб никаких мыслей этаких... всяких... неуместных. И с моделями — осторожно. А то если что предосудительное изобретёшь, а? Ты у меня смотри...

Алексей. Да ведь я о пользе народной хлопочу — что же тут предосудительного?

Сергей Николаевич. Глупости говоришь... Польза, польза... Что народ-то без твоих моделей не проживёт? О пользе народной не такие, как ты, заботятся... А у тебя это — пустые бредни. Выкинь, выкинь из головы.

Алексей. Как выкинь? Зачем же? Не бредни, ваше превосходительство. Ведь вот — насос это же на пользу?

Сергей Николаевич. Ну — насос другое дело. *(Спохватился.)* Впрочем, мне ехать нужно. Не для разговоров я тебе приказал явиться. Слышал — в подвале вода стоит? Вот и займись, выкачай... Вот и польза... Сейчас и приступи. Я сам... как это... потом проверю.

Алексей. Значит, вы меня за этим и звали?

Сергей Николаевич. А зачем же ещё? Не в гости же! Ну, что ты столбом стоишь? Ах, да... Вот возьми. *(Даёт трёхрублёвку.)* Только смотри, чтобы всё в порядке было... Там дворнику скажешь, он поможет...

Чиновник *(входит)*. Ваше превосходительство... Их превосходительство просили напомнить...

Сергей Николаевич. Сейчас, сейчас... Илларион Иванович, покажите ему, куда пройти... *(Уходит.)*

Чиновник. Идите, Костиков. Там дворник вас ждёт...

Алексей. Не беспокойтесь — иду. Вот и три рубля для него будут кстати!..

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лето 1887 года. Летний театр в Павловске, под Петербургом. Гримировочная артиста Андреева-Бурлака.

Бурлак *(гримируясь)*. Да это ты врешь...

Пётр Дмитриевич *(поправляя на болванке парик)*. Сушая правда, Василий Николаевич, истинный

господь, купец-то миллионщик. Целиком всю билетную книжку — в карман. Покупаю, говорит, весь твой аншлаг, — ведь это сибиряки, Василий Николаевич, с размахом купечество...

Бурлак. А дальше что?

Пётр Дмитриевич. Билетную книжку, значит, в карман — и снова в буфет, очередную порцию. Заметьте, только репетиция началась, утром всё это было. Антрепренёр Иван Саввич — туда, сюда, к нему через часок снова подходит: пошутили, мол, ваше степенство, — отдайте книжечку, публика у кассы, билеты на вечер требуют, как же мне публику-то отпускать?

Бурлак. А он?

Пётр Дмитриевич. Ни в какую. Слово, говорит, кремень. И книжку не отдаёт и из буфета не уходит. Чем больше антрепренёр просит, тем сильнее купец куражится. Так до вечера время дошло. «Давай, говорит, звонки, чтоб я знал, когда мне в залу итти».

Бурлак. А актёры?

Пётр Дмитриевич. Оделись, загримировались. И меня посылают, понимаете, Василий Николаевич, — меня-то, в буфет! Поди, говорят, взгляни, в каком состоянии меценат: каким номером спектакль играть.

Бурлак. И играли?

Пётр Дмитриевич. Играли, Василий Николаевич. В зале — пустота, двери все на замок заперты, в первом ряду купец один сидит, в ладоши хлопает, начинай, мол.

Бурлак. И весь спектакль шёл?

Пётр Дмитриевич. Целиком и полностью, совершенно исправно. Суфлёр подаёт, как приказано, — без вымарок. Разрешите, Василий Николаевич? (*Надевает парик.*) Ну-с, первый акт он посмотрел, в антракте погулял по фойе, — с заходом в буфет, ясное дело; второй акт начался. Купец-то притомился — носом клюёт. А через несколько минут смотрим — вовсе уснул. Артисты не знают, что делать, однако продолжают. Антрепренёр из ложи сигналы подаёт: «Играйте, мол, неизвестно, может представляется, — проверяет, чтоб потом деньги обратно потребовать». Ну, спектакль идёт, как сейчас помню, «Две сиротки». Только в третьем акте, в самой трогательной сцене, — просыпается купец. На сцену лезет. Актёров за руки хватает, с ними вместе, так ска-

зять, мизансцены выполняет. Бросьте, говорит, довольно. Ну, простите меня, ради Христа. Побаловался я — с жиру это, со скуки, — пойдёмте в буфет. За обиду, говорит, две дюжины шампанского ставлю.

Бурлак (*смеётся*). Ну? Поставил?

Пётр Дмитриевич. Спектакль доиграли до последней точки, занавес дали. Потом, конечно, в буфет все переселились, пожалуй, что до утра...

Бурлак. Говоришь, в Бийске сей случай произошёл?

Пётр Дмитриевич. В Бийске. Я третий сезон у Ивана Саввича мастером служил. Солидное дело было...

Бурлак. Бийск-то солидное? Ну, это ты, брат, оставь... Никогда оно солидным не было... Да не в этом суть. Если мне в душу наплюют, если такой вот «меценат», — а их, Митрич, немало около театра и сиятельных и купеческих, — актёра своим холопом, придворным шутком рассматривает, то что от театра останется? И ты, Митрич, мой дорогой, это ведь сам понимаешь. Хорошо понимаешь... Ибо душа — есть разум и совесть, и плевать в неё строго воспрещается... Ну, готово у тебя?

Пётр Дмитриевич. Всё, в аккурате, Василий Николаевич. Разрешите — паричок подклею.

Бурлак. Сбор как — не знаешь?

Пётр Дмитриевич. Цифру затрудняюсь сказать, но после третьего звонка в залу заглядывал, так на взгляд — полно. И это, заметьте, Василий Николаевич, в будни. Здесь, в Павловске, к будням публика не приучена. Всё из-за вас.

Стук в дверь.

Бурлак. Узнай, братец, кто там. Меценатов не пускай... (*Пётр Дмитриевич выходит. Бурлак, заканчивая грим, напевает.*) Ме-це-на-тов не пускай! Не пускай! Не пу-у-у-у-скай...

Пётр Дмитриевич (*возвращаясь*). Там вас спрашивают... По обличию на сочинителя похож — или на художника... Незнакомый.

Бурлак. Гм... Ну зови. (*Пётр Дмитриевич идёт к двери.*)

Пётр Дмитриевич. Пожалуйте. Просят.

Входит Алексей Петрович Костиков. Бурлак смотрит на него, потом бросается обнимать.

Бурлак. Алексей! Друг! Вот молодец!

Костиков. Василий Николаевич! В усах-то я сразу и не понял, что это вы.

Бурлак. Э-э, брат, и тебя не узнать. Сюда, сюда, господин перпетуум мобиле. Ну, — рассказывай! Когда приехал? Как разыскал?

Костиков. В Петербурге — второй день. А отыскать вас нетрудно. Андреев-Бурлак — не Костиков-Алмазов...

Пётр Дмитриевич (*про себя*). Костиков-Алмазов! Фамилия уважительная, а на театре не слыхивал.

Бурлак. У тебя, старец, весь век впереди. Ещё не раз услышишь её.

Костиков. Отцовское наследство.

Пётр Дмитриевич. От папаши, значит, перешла?

Бурлак. Погоди, сколько мы с тобой не виделись?.. Когда я по волжским театрам в последний раз бурлачил? Да... выходит, два с лишним года...

Костиков. Три, Василий Николаевич.

Бурлак. Три года! Вечность! Ну, ну — рассказывай.

Костиков. Московское житьё-бытьё моё вам известно. А как в Петербурге придётся — и сам не знаю.

Бурлак. У Рихтера был?

Костиков. Вчера. Принял, патентами поинтересовался. Показал я ему свидетельства, похвальные листы вытащил — с Уральской выставки. С Харьковской. Из Москвы. И знаете, Василий Николаевич, что ему понравилось? Не угадаете? Походная печка. (*Смеётся.*)

Бурлак. Печка! Что за вздор?

Костиков. Вот именно — походная печка. Это, говорит, действительно! Вещь. Дважды заставил повторять, как она устроена. Пришлось подробно демонстрировать его превосходительству (*жестами показывает*): здесь топка, здесь дверцы, а здесь — стенка, генеральский зад греть.

Пётр Дмитриевич. Это полезно-с, члены согреть.

Костиков (*с возмущением*). Нет, Василий Николаевич. Не этого я ищу. Не генеральского одобрения. Не похлопывания по плечу. (*Волнуясь, ходит по комнате.*) Вот. (*Вынимает из кармана чертежи.*) Вот оно, мое дитище. Малое, неразумное пока. Но расти будет.

Пётр Дмитриевич (*заглядывая в чертежи*). Как на графе Доризоре. Занятно-с.

Костиков. Как вы сказали?

Бурлак (*Костикову*). Не слушай. Это он по старости заговаривается. От долгого употребления.

Пётр Дмитриевич. Похожа, Василий Николаевич, ей-ей. Модест Иванович на грудь себе вешает. Толстая такая цепь. Знаки графского достоинства.

Костиков. Цепь? Верно. Только не графская, не княжеская. Для мужика её сделать хочу, чтобы она ему и досталась.

Пётр Дмитриевич. Да ведь мужику, почитай, и без вашей цепи иной раз тяжеленько итти.

Костиков. С моей не пойдёт. Поедет!

Бурлак (*Костикову*). Загадками что-то говоришь, Алёша.

Костиков. Загадок я, Василий Николаевич, не люблю. Самому мне попалась загадка. Если отгадаю её, значит, дело верное. Поедет русский мужик по Российской земле, по моей тропинке. Ни снег, ни грязь его не остановит. Как по сухому поедет.

Бурлак. Как же это так?

Костиков. Сколько раз приходилось видеть, как мужицкое колесо по втулку в грязи вязнет. Мужик доску подложит, а далеко ли по одной доске уедешь. Цепь я, Василий Николаевич, мечтаю приспособить. Таковую цепь, чтобы ползла она под колёсами: и сама крутилась, и им опорой была. Твёрдой опорой, вроде доски.

Бурлак. Постой, постой... каких колёс?

Костиков. Всё равно. Сама она колесом должна быть. Ну, смотрите. (*Берёт коробку с пудрой.*) Колесо?

Бурлак. Колесо...

Костиков (*берёт другую коробку*). Колесо?

Бурлак, Пётр Дмитриевич (*вместе*). Колесо!..

Костиков (*объединяет коробки ленточкой*). А это тропиночка через них. Закружились колёса, — тропиночка закрутилась. Колёса её тащат и сами по ней идут.

Куда захочешь — туда и пойдут. Хочешь в Москву-матушку, хочешь в Сибирь...

Бурлак (*Петру Дмитриевичу*). Ты понимаешь?

Пётр Дмитриевич. Сомнительно-с...

Бурлак (*негодующе*). Что сомнительно?

Пётр Дмитриевич. Лошадка не вытянет, Василий Николаевич! Или заботится.

Костиков (*смеётся*). Лишь бы начальство не забоялось.

Пётр Дмитриевич. Да цепь-то зачем, господин инженер? Как бы не помешала... Одно слово — цепь...

Костиков. Цепь цепи рознь. Моя не помешает. Поможет. Попробуйте за нашу землю весной колесом зацепиться? Жига. Помню, построил я лет двенадцать тому назад в Омске сестрёнкам самокат (*мечтательно*), хороший был самокат с тремя колёсами. А на улицу после дождя выедешь — ни с места. И таких улиц у нас во многих русских городах — сколько угодно. А в сёлах!..

Бурлак (*горячо*). Погоди, Алёшка! Ты... ты соображаешь, что ты придумал?

Костиков. Не придумал ещё, Василий Николаевич! Не отгадал я ещё загадку. Близок локоть — да укусить не легко. Надо мне настоящей механике обучиться, силу её себе взять. Вот я у генерала и попросил. Ну и определили меня на завод Морского ведомства в Кронштадте. Там и работать и учиться буду.

Бурлак. Это и всё, о чём с Рихтером говорил? А насчёт выставки в Париже? Не спрашивал? Знаю тебя — молчишь, а рвёшься. По письмам твоим чувствовал.

Костиков. О поездке на всемирную выставку генерал и слушать не пожелал. Самоучка — и вдруг в Париж, в столицу мира! Но я твёрдо решил попасть туда — и от своего намерения, Василий Николаевич, не отступлюсь.

Бурлак. А ты, я знаю, упрямый! (*Смеётся.*)

Костиков. Не во мне дело. Иностранцы, вон, думают, что по нашим улицам медведи ходят. Ложь! Не медведи, — русские люди ходят, и других они не хуже, ни в механике, ни в технике не последние. Может, меньше учились, — верно. Только не вина — беда наша. А хоть

и в столице мира — кроме тульского самовара показать есть что.

Бурлак. Верю. В тебя верю, Алексей. И в механику твою верю.

Костиков. Спасибо вам, Василий Николаевич. И за прежнее спасибо и за сегодняшнее... За веру вашу...

Входит Гриша.

Гриша. «Англичане! Просвещённые мореплаватели!» (*Увидя Костикова.*) Пардон, я не опоздал?

Пётр Дмитриевич. Всякому гостю — своё время. Вот как умные люди между собой поговорили, так ты в самый раз и оказался...

Гриша (*Пётру Дмитриевичу*). Куафер! Оставь своё остроумие до лучших дней. Я к вам, Василий Николаевич...

Бурлак. Сколько?

Гриша. Банально. Впрочем — как вы догадались? Кельк шоз...

Бурлак (*роется по карманам, потом достаёт деньги, протягивает их Грише*). Зачем, например, сегодня?

Гриша. За долги чести необходимо расплатиться.

Пётр Дмитриевич. А я и надеяться перестал.

Гриша. Да, сполна. (*Петру Дмитриевичу.*) Помня, однако, что всякой отдаче — своё время...

Пётр Дмитриевич. Тьфу... (*Выходит.*)

Костиков. Я пойду, пожалуй...

Бурлак. Куда заторопился? Нет, так у нас не полагается. Три года не видались — и вдруг на тебе — он пошёл... А ну — да здравствует разум! (*Достаёт вино.*) Выпьем за умнейшего русского человека, за изобретателя Алексея Петровича Костикова-Алмазова!

Костиков. Зачем это, Василий Николаевич...

Гриша. Талантливому человеку после разговоров — выпить обязательно.

Бурлак. Талантливому? Это ты, Гриша, правильно изволил заметить. Вот он (*указывает на Костикова*) талант. И не просто талант — самородок! И не среди прославленных столичных знаменитостей... Ибо колыбель истинных дарований — русская провинция! Если внимательно присмотреться — там они вспыхивают на каждом

шагу, но в большинстве — сразу же гибнут, часто даже не сознавая своей одарённости. Почва не подготовлена, не завершились времена... Ты это понимай, Алексей. Вот мы за твой талант выпили — независимый, свободный талант... Мы подвигов от тебя ждём, подвигов — понимаешь? А не преждевременной гибели. Твой путь — это путь подвижничества — помни. Дай, поделю тебя, Алексей, как сочувственник твоего таланта.

Слышен за кулисами второй звонок. Входит Пётр Дмитриевич.

Пётр Дмитриевич (*протягивает записку Бурлаку*). От графа Замойского принесли.

Бурлак. Что такое? (*Читает.*) Опять журфикс, опять «весьма признательны»! Не пойду (*Бросает записку.*) «Ценители искусства!» Пронюхали, что Репин портрет с меня пишет, вот и загорелось её сиятельству гостей «оригиналом» попотчевать.

Гриша. Напрасно, Василий Николаевич. Сам Гоголь, и тот бы, пожалуй, вас попросил «Записки сумасшедшего» ему прочесть. Слава! От неё не скроешься.

Бурлак. От журфиксов слава невелика. Петербургский перезвон. Да и не по мне она. По гостинным славы не ищут, как ты думаешь, Алексей? А слушай-ка! (*Хлопает себя по лбу.*) Что, если пойти, а? Пойти, да сиятельной чете удочку насчёт тебя закинуть? Замойские люди в силе, руки у них длинные, язык ещё длинней. Авось и доведёт он тебя до Парижа. Сейчас... (*Берёт лист бумаги, пишет.*) Решено (*ставит подпись*) и подписано. Иду ходатаем к поклонникам талантов! Попрошу меценатов, чтобы они задвижечку от окна в Европу перед русским изобретателем отодвинули. (*Отдаёт записку Митричу, тот выходит.*)

Костиков. К петербургским аристократам и насчет провинциального таланта? (*Пожимает плечами.*) Увлекающийся вы человек, Василий Николаевич.

Гриша (*философски*). Что правильно, то правильно. Трудно поверить, чтоб они оценили... Дарований в нас много. Наши же дарования — наши страдания...

Бурлак (*иронически*). Ну, брат, если ты на свои дарования жалуешься...

Слышен третий звонок. Входит Пётр Дмитриевич.

Пётр Дмитриевич. Пора, Василий Николаевич!

Костиков встаёт.

Бурлак. Иду. (Костикову.) Ты — куда? Не твой выход. Меня подожди. (Надевает сюртук и цилиндр Расплюева.) Эх ты, жизнь. (Уходит.)

Гриша. Я посижу, Василий Николаевич. (Костикову.) С нашим Бурлаком на Волге познакомились?

Костиков. На Волге. Познакомились-то необычно. На билет у меня нехватило. С палубы гонят. А с ящичками моими пешком не дойдёшь. Если б не Василий Николаевич... Раз, говорит, ты механик, да ещё и беспортошный, — вместе поедем.

Гриша. А в ящичках, что же везли, позвольте полюбопытствовать?

Костиков. Модели. Добился я их в Харькове на выставке показать, оттуда в Саратов проехал, а там в столицу двинуться решил. Да в пути капиталов не рассчитал. Так и пришлось за счёт Василия Николаевича до Москвы добираться. С тех пор по письмам дружбу вели. Если правду сказать, так и сюда я по его совету явился. С купцами, мол, свяжешься, всё равно толку не будет. А надо тебе на казённых заводах место исхлопотать.

Пётр Дмитриевич. Чего ж лучше, если на казённые харчи попасть. Только иной раз и казённый пирог поперёк горла становится.

За сценой шум аплодисментов.

Гриша. Бурлак вышел. Эх, как он Расплюева играет — залюбуешься. Верно, а?

Костиков. Такими людьми, как он, в жизни любуешься. А на сцене ни разу не пришлось мне Василия Николаевича посмотреть.

Гриша. Нет, вы серьезно? Сидеть у Бурлака и не посмотреть Бурлака! Да ведь это... это — фу ты, слов не нахожу. О, жалкий жребий ваш! Идите, идите сюда. (Подводит Костикова к дверям, распакивает их.) Вот, батенька, глядите. На всю жизнь запоминайте. Не игра это — служение истине!

Пётр Дмитриевич. Подвиг-с.

Костиков. Служение истине — всегда подвиг.

Занавес

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Веранда на даче Замойских в Павловске. Из-за неплотно прикрытой двери слышно, как Бурлак закапчивает «Записки сумасшедшего». Старый лакей Замойских прислушивается.

Бурлак (за сценой). «Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже, что они делают со мной! Они льют мне на голову холодную воду! За что они мучают меня? Чего хотят они от меня бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Матушка, спаси твоего бедного сына! Ему нет места на свете! Его гонят! Матушка! Пожалей о своём больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»

Аплодисменты, голоса: «превосходно», «превосходно», «великолепно», «изумительно». Лакей распахивает двери. Входят гости.

Сергей Николаевич. Его сумасшедший — попросту великолепен. Да, вот именно, великолепен.

Пожилой гость. Нехватает только больничного халата. Но, говорят, что в концертах он исполняет это в костюме и гриме..

Дама. Вы слышали — Репин собирается писать его портрет.

Константин Михайлович. Он уже пишет, я знаю это из самых достоверных источников. А Стасов?! Стасов ходит от гоголевского сумасшедшего просто без ума. (Смеётся.)

Эллен. Константин Михайлович! Вы неисправимы.

Константин Михайлович. Виноват, виноват. Но почему вы так ненавидите нашего «великого» критика, Елена Фёдоровна? Чем он мог обидеть ваш тонкий вкус?

Эллен. Он ужасно противен. Фигляр с бородой. И этот апломб... О! Он так развязно судит об всём: об искусстве, музыке, литературе. И всюду на первом плане — мужик. — Ну, я вас спрашиваю, господа, — почему мужик? Зачем мужик? Неужели наше искусство так измельчало, что даже критика не находит в нём ничего возвышенного, изящного, облагораживающего? Ну почему, господа, ответьте мне!

Пожилой гость. Веяние времени!..

Дама. А по-моему, — просто распущенность. Но говорят, что министр внутренних дел...

Сергей Николаевич. Э, сударыня! Всё это — полумеры. Не то, не то. Нашей общественной жизни нехватает... как это?.. чувства собственного достоинства. А теперь мы ударились в народность, вот именно...

Эллен. Ужасное время! Но однако — как сыро на воздухе. Не люблю Павловск...

Дама. Невольно позавидуешь нашим дорогим хозяевам; говорят, что назначение графа — дело уже решённое. Правда, да? Значит, через месяц графиня будет уже в Ницце. Ницца, Ницца! Вы знаете: когда я думаю о солнечной Франции, я совершенно забываю нашу серую Россию. Для меня её нет. Она не существует.

Сергей Николаевич. Но, сударыня, она... как это — всё-таки — существует! Россия — это мы. А сколько мы существуем...

Дама (*перебивая*). Сергей Николаевич, вы педант. Да, да, не спорьте. Педант! Вы способны разрушить любое очарование. Когда я вспоминаю Ниццу — мне становится легко и немножко грустно. Боже! Как надоел наш петербургский климат.

Из дверей выходят Замойская и Бурлак, за ними несколько гостей, которые проходят через террасу в сад.

Замойская. Вы доставили всем нам, Василий Николаевич, большое удовольствие, и мой приятный долг вас поблагодарить.

Бурлак. Меня, графиня? За удовольствие Гоголя благодарить надо. Вот только мёртвые благодарности не имеют.

Пожилой гость. Зато живые, Василий Николаевич, приемлют.

Сергей Николаевич. Вот именно.

Дама. Скажите, месье Бурлак, почему вы до сих пор не на императорской сцене? С вашим талантом это просто грешно! Говорят, что дирекция приглашала вас?

Бурлак. Я — перелётная птица. А птица, как известно, любит и движение и простор.

Сергей Николаевич. Ну, в Александровке — сцена большая, простору много. Зря. Не пренебрегайте.

Императорский театр — это вам не частное заведение. Императорский! Вот именно... Сам государь и члены августейшего семейства посещают. Двор! Да...

Бурлак. Вот я и полагаю, что не ко двору придусь.

Входит Замойский.

Замойский. Надеюсь, господа, что наш скромный вечер...

Эллен. Ну, право, граф, только у вас я и отдыхаю душой. Мы с мужем так соскучились за время его губернаторства в этой дикой Сибири, что порой мне кажется всё это каким-то сном. И я даже боюсь проснуться...

Дама. Но мы слышали, граф, что вы собираетесь лишиться нас удовольствия ваших вечеров...

Замойская. Сегодня — последний, господа. Муж и так торопит меня. А мне не хочется ехать. Вы знаете — я... сконапель? Ну, как это говорят в народе... Домосидка.

Сергей Николаевич. Вот именно.

Замойская. И потом — хлопоты, хлопоты... Но — положение обязывает. Когда я подумаю, становится просто страшно. Сколько забот, беспокойства. Во Франции нужно быть парижанкой.

Бурлак. А по-моему, ваше сиятельство, во Франции надо быть только русской.

Пожилой гость (*усмехаясь*). Василий Николаевич, очевидно, любит парадоксы.

Дама. Однако ваш отъезд, граф, несколько неожиданен.

Замойский. Он решён его величеством. Мне предложили воспользоваться прежде своим отпуском, а после этого прибыть в столицу мира.

Эллен. Значит сначала вы поедете путешествовать?

Замойская. Это будет наше второе путешествие после свадебного. Мы вместе выбирали города. Муж хочет, чтобы я полностью отдала свой долг Европе.

Константин Михайлович. А я уверен в противоположном, графиня. Нет, не ваш долг, а вся Европа отдаст должное вашему обаянию.

З а м о й с к а я. Константин Михайлович, вы мне льстите.

Э л л е н. Но мы возьмём с вас слово, дорогая, что вы будете подробно-подробно писать нам обо всём. И главное — о парижском свете.

Б у р л а к. В Париже — русский свет, мадам.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Опять, как это... парадокс...

Б у р л а к. В наше время, господа, правда звучит иногда парадоксально. Но это — верно: свет в Париже всё-таки русский. Ведь русская же свеча горит на Елисейских полях. Горит, и не сгорает.

З а м о й с к а я. Это остроумно, Василий Николаевич. Действительно, господа, в Париже — русский свет. Пойдите, но я забыла, кто же это зажжёт его?

К о н с т а н т и н М и х а й л о в и ч. Ходят слухи, что некто Яблочков, графиня. Электрический изобретатель.

Д а м а. Я-б-л-о-ч-к-о-в? Опять простионародно. Но, вероятно, он инженер?

З а м о й с к и й. Если мне не изменяет память, о нём стало известно после первой Парижской выставки. Иностранцы весьма хвалят его свечу.

Д а м а. Ах, кстати, графиня. Ведь в будущем году вы увидите новую всемирную выставку? Я могу себе представить, какое это великолепие! Всё, что только может создать взыскательный вкус...

К о н с т а н т и н М и х а й л о в и ч. Все страны, весь мир!

Д а м а (*к Замойскому*). Значит, Россия всё-таки будет участвовать в выставке? А говорили...

З а м о й с к и й. Сергей Николаевич, это по вашей части.

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Разумеется, будет. Но.. как это... неофициально. Без шума, без шуму.

П о ж и л о й г о с т ь. Но чем же можем мы поразить любопытство иностранцев. Ведь мы так бедны настоящими произведениями искусства и техники.

Б у р л а к. Бедны?!

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Мы, действительно, поразим... вот именно, поразим мир. Нами уже предприняты известные шаги... На-днях, господа, например, я беседовал с придворными поставщиками. Грюнвальд кля-

нётся, что от его мехов французы потеряют сон. А бронза... Шопеновская бронза!

Бурлак. А искусство, техника?

Сергей Николаевич. Техника? Да, тоже что-то очень интересное. Но, право, сейчас не припомню. Этим занимается министерство государственных имуществ. В особенности этот.. Как его?.. Господин Андреев и прочие.

Замойская. Не ваш ли это родственник, Василий Николаевич?

Бурлак. К сожалению, нет. Не имею удовольствия быть с ним знакомым, но неоднократно слышал о нём много хорошего. *(Отходит с Замойской в сторону.)*

Пожилой гость. Это тот самый господин, увлекающийся так называемым прогрессом?

Константин Михайлович. Да, о его сомнительных затеях недавно весьма насмешливо упоминали газеты... Он возится с какими-то «кустарями».

Эллен. Как это вульгарно...

Сергей Николаевич. Вот именно. Я понимаю — Штейнер со своими изумительными корсетами. Гвардейские офицеры...

Разговор в группе гостей продолжается.

Бурлак *(тихо Замойской)*. Ваш гость, графиня, имеет власть над будущими экспонентами всемирной выставки?

Замойская. Вы говорите о Сергее Николаевиче? Да, кажется, по своему министерству. Но почему у вас такой интерес к этому, Василий Николаевич? Я начинаю подозревать, что вы загорелись желанием выступить в будущем году перед парижской публикой?!

Бурлак. Я? Нет. Меня больше на Волгу тянет. Не обо мне речь. А вот разрешите, графиня, у вас спросить... *(Отходят в сторону.)* Если я обращусь к вам с просьбой — откажете или нет?

Замойская. Но, Василий Николаевич, говорите прямо. Разные бывают просьбы...

Бурлак. Извольте, скажу. Хочу просить вас одно доброе дело сделать. Труда большого в нём нет, а человеку — смысл жизни в этом деле. Вам не откажут. Ну,

в крайнем случае, за каприз примут. А за ним, за капризом, человеческая душа бьётся, как птица, а некая верёвочка её не пускает. Ну, что её, верёвочку, не сбросить? Так не откажете?

З а м о й с к а я. Но я, право, не могу понять. Может быть, Василий Николаевич, вы лучше с мужем поговорите?

Б у р л а к. Нет, именно с вами, графиня. Надеюсь, что вы одарённому человеку на помощь придёте. Только не всегда талант там, где ваш гость его видит.

З а м о й с к а я. Я ничего не понимаю, — тем более, что вы всё ещё не сказали, чем же я могу быть полезной?

Б у р л а к. Скажу по порядку. Года три назад столкнула меня судьба с одним человеком. Простой человек, из народа. Механик-самоучка. Из Сибири. А ум у него светлый, хороший ум. Побывал он со своими моделями да машинами на технических выставках, одобрение заслужил, да всё без толку. А модели у него — чудесные. Так вот, графиня, если бы этого человека — да на всемирную выставку? Разрешение бы ему получить, — за границей побывать и доказать там, что наша земля талантами не бедна. Не Ломоносов, конечно, не гений, но голову даю на отсечение, что французским механикам ни в чём не уступит.

З а м о й с к а я. Я люблюсь вами, Василий Николаевич! Сколько беспокойства, сколько волнения вкладываете вы в ваш рассказ. Неужели все талантливые люди такие мятежные натуры?

Б у р л а к. Чудесно сказал Баратынский: «Дало две доли провиденье на выбор мудрости людской: или надежду и сомненье; иль безнадежность и покой!» Нам не нужна ни малейшая доля покоя, графиня. Мы сомневаемся, волнуемся, но мы и надеемся. В данном случае — на вас, графиня, на ваше влияние!

З а м о й с к а я. Пожалуй, лучше всего обратиться к Сергею Николаевичу.

Б у р л а к. Вот в этом и просьба моя — обратитесь. Ну, право, доброе дело сделаете.

З а м о й с к а я. Я всегда готова сделать вам приятное, Василий Николаевич, в благодарность за ваше прекрасное искусство. Сергей Николаевич, подойдите к нам.

Сергей Николаевич. С величайшим удовольствием. *(Подходит.)*

Замойский уходит в гостиную.

Замойская. Сергей Николаевич, нам надо послать одного человека в Париж.

Сергей Николаевич. Для вас — хоть дюжину, вот именно, дорогая графиня.

Замойская. Не смейтесь. Он изобретатель. У него масса чудесных вещей. Вот и Василий Николаевич говорит. Но как его туда послать?

Сергей Николаевич. Кого?

Замойская. Фу, какой невнимательный! Ну, конечно, изобретателя. Он беден.

Сергей Николаевич. Но что же ему делать в Париже, графиня?

Замойская. Как что? Он покажет иностранцам свои изобретения на Парижской выставке.

Сергей Николаевич *(смеётся)*. Вы шутите, графиня. Зачем? Неужели за границей мало своих прожектёров?

Замойская. Не упрямыйтесь, Сергей Николаевич. Надо достать ему разрешение. Хорошо, да?

Сергей Николаевич. Но кто же он?

Бурлак. Механик Костиков-Алмазов, из Омска. Сейчас он у генерала Рихтера назначение получил. На завод морского ведомства в Кронштадте. Талантливый человек. Но самоучка...

Сергей Николаевич. Но зачем же на Парижскую выставку этого... как его... самоучку? Костикова-Алмазова? Пардон, пардон... Уж не тот ли это мещанин, что у меня в Омске из подвалов воду выкачивал? Ха-ха-ха. Изобретатель! Так если его отправлять, дорогой мой, то надо бы и нашего омского дворника прихватить. Они там вместе, в подвале... как это... изобретали, чтобы воды не было! Ну, батенька, просто насмешили. В Париж! На выставку? Да ведь это... как это — на посмешище себя перед заграницей выставить. Нет, нет увольте!..

Замойская. Сергей Николаевич, я вас очень прошу!

Э л л е н. Серж, я не понимаю, — раз дорогая графиня просит, ты это сделаешь немедленно. И, в конце концов, если это тот самый изобретатель, то ведь ты же первый помог и покровительствовал ему, помнишь?

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Да, да, конечно. Если графиня просит, я просто... Хорошо, хорошо. Я поговорю о нём в заинтересованных инстанциях. Но лично моё мнение...

З а м о й с к а я. Я беру с вас слово...

С е р г е й Н и к о л а е в и ч. Только ради вас. И для вас. Да, вот именно. Но где же моя награда?

З а м о й с к а я. Вот. *(Протягивает ему руку для поцелуя.)*

Б у р л а к *(Замойской с поклоном)*. Отныне я ваш должник, графиня.

Входит З а м о й с к и й.

З а м о й с к и й. Господа, господа, начинаем. Он всего на несколько дней приехал из Вены. Довольно интересен как композитор, но как исполнитель — это просто прелесть.

З а м о й с к а я. Да, да, идёмте, господа. Сегодня у нас — только искусство.

Все уходят. Остаётся Б у р л а к. За сценой — широкая и очень грустная музыка. Играет скрипач. Старый лакей подходит к Бурлаку.

Б у р л а к. Ну, что, брат ты мой. Хозяева гостей после меня музыкой угощают, а ты меня чем?..

С т а р ы й л а к е й. Извольте приказать, сударь. Вы уж извините меня, старика, когда слушал я, как вы декламировали, не выдержал. Слеза прошибла. Истинное это счастье. Вот кажется слушал бы и слушал...

Б у р л а к. Понравилось тебе, а?

С т а р ы й л а к е й. Трогательный, сударь, рассказ. Как, значит, человек-то всё хотел повыше стать. С начальством, значит, думал породниться, ну и разум от этого потерял. Истинные чувства — слушаешь и слёзы у тебя...

Б у р л а к. Да, братец... «Все или камер-юнкер, или генерал. Всё, что есть лучшего на свете, всё достаётся или камер-юнкерам, или генералам. Чёрт побери! Же-

лал бы я сам сделаться генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки и потом сказать им, что я плюю на вас!»

Старый лакей (*оглядываясь*). Как это вы, сударь, смело так!..

Бурлак. Гоголь, Николай Васильевич. «Записки сумасшедшего». Прощай, братец. (*Быстро уходит.*)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЯТАЯ

Париж. Лето 1889 года. Часть зала кустарного отдела русского павильона на Парижской выставке. Утро. Костиков один, развернув на полу большой чертёж, вычерчивает на нём деталь, напевая вполголоса «Ермака». Незаметно входит Ручин. Видя занятого чертежом Костикова и не желая ему мешать, остаётся у двери. Бьют часы.

Костиков. Одиннадцать! Вот время-то бежит... (*Свёртывает чертёж, прячет его в свой уголок, берёт метёлку и тряпку, начинает уборку, смахивая пыль с экспонатов.*)

Ручин тихонько кашляет.

Костиков (*оборачиваясь*). А? Месье... Же вы при... у нас — ферме.

Ручин. Вы, сударь, русский? Я ненароком сейчас услышал, как вы «Ермака» напевали..

Костиков. И вы, стало быть, тоже русский? Ну, тогда здравствуйте, здравствуйте! Очень рад!..

Ручин. Вы уж извините, помешал я...

Костиков. Да что вы такое говорите... Верно — я очень рад... Потому что, прежде всего, вижу: вы простой человек, русский, а я таких не встречал здесь, — вот что дорого мне. И действительно — радостно.

Ручин. И я зашёл, признаться, подумав, — а может быть земляка найду. Ведь тут у вас все дни народу — столпотворение. А сегодня — знаю, отдел для публики закрыт по случаю жюри. Вот и пришёл земляка поискать... Ручин я. Столяр Ручин, Ефим Лукич.

Костиков. Костиков-Алмазов — очень приятно познакомиться. *(Долго жмут руки.)* Откуда вы? Как же в Париже очутились?

Ручин. Да история-то моя длинная да путанная. Трудно и объяснить толком. Покороче вам сказать, мальчонкой с другими дворовыми ещё в пятьдесят третьем году прибыл с родины. Привёз тогда сюда слуг своих крепостных граф Вельегорский. Потом, когда воля вышла, отдал он меня в учение; значит, здесь я и науку столярную, тонкую легко одолел. Краснодеревец я. Граф-то помер, жена его уехала, народ наш — тоже — кто куда, большинство домой отправилось. А мне что делать? Жена, дети маленькие — на родной стороне ни кола, ни двора. Саратовские мы, с Волги. А здесь хозяин уговаривает, — может слышали, фирма Обюссон, коврами знаменитая? Мебель они стильную выделывают. Так вот — француз-то, хозяин, и говорит: «Куда, мол, уезжать, чего тебе надо? Квартира есть, русская церковь при посольстве есть, — а французская свобода при республике для всех права даёт жить и работать... Я, мол, тебе прибавку дам сто франков в месяц, — ну и купил...

Костиков. Верно, что купил. Французской свободой за сто франков.

Ручин. Точно так. И вот, почитай, двенадцать лет я на него и работаю. И как будто — на жизнь жаловаться не приходится. А на душе у меня год от году тоскливей.

Костиков. Это понятно. Русскому человеку на чужой земле родина во сто раз краше и дороже сердцу.

Ручин. Вот, вот. Память-то всё в детские годы уносит — к речке, к берёзкам, к ржаному хлебушке. Всё мечтаю, как бы мне на остаток жизни в отечество вернуться.

Костиков. Зачем же дело стало?

Ручин. Не знаю никого — куда податься? Куда ехать? Ведь капиталов не скоплено; бросишь всё, при-

едешь — входа-выхода не найдёшь... Ну да об этом после. Познакомимся может быть с вами, вот как терпеливо да участливо меня слушаете, — тогда поможете надумать и решить...

Костиков. С большим удовольствием... Хорошо, что вы догадались сюда зайти...

Ручин. Да ведь мне на эту выставку мебель пришлось делать, я тут не раз бывал.

Костиков. Да что вы говорите?

Ручин. Как же, как же... Больше года над одним гарнитуром корпел. И мечталось мне — в русский павильон поставить. Да не тут-то было. Неважно ведь для них, что русскими руками сделано — фирма-то французская. Стоит моя мебель в центральном павильоне, как экспонат торгового дома Обюссон. Зайду, посмотрю изделие своё, тихонько креслице поглажу, да и уйду. От этого только в мыслях укрепляюсь — домой бы скорей.

Костиков. Досадно, конечно, что так с вашей мебелью получилось. А вы с генеральным комиссаром отдела господином Андреевым не говорили? Душевный человек. Только благодаря ему меня на выставку пустили.

Ручин. Болен был генеральный этот самый. Еле-еле к другому начальству попал, помощник его, говорят. Думал, что русский, а он опять француз. И приступу нет; одно имя — Бастион.

Костиков. А! Бастиен — секретарь отдела.

Ручин. Да всё равно. От этого не легче — Бастиен или Бастион.

Бьют часы. Костиков надевает фуражку с золотым галуном.

Костиков. Уборка-то не сделана. Надо навести чистоту...

Ручин. Сударь, да кто же вы будете? Здесь в таких-то *(показывает на фуражку)* всё больше швейцары ходят.

Костиков *(усмехаясь)*. Вот я вроде швейцара и есть. Чужое почистил, жалованье оправдал, — теперь за своё приняться можно.

Ручин. За что, за своё-то?

Костиков *(подходя к своим моделям)*. Вот богатство моё!

Ручин. Не пойму, сударь, что-то.

Костиков. Ничего мудрёного. Модели привёз, а жить на что? Вот и приспособили меня к месту — порядок охранять. Без этой работы не только бы не прожил, а и места на выставке мог бы лишиться.

Входят Андреев и Бастиен. Они проходят в глубь сцены.

Андреев. Но я же знаю, что место ещё оставалось.

Бастиен. Когда это было, господин комиссар? Последние 45 метров две недели тому назад взял барон Ротшильд.

Андреев. Ротшильд? Давно ли он принял русское подданство?

Бастиен. Вы шутите, господин комиссар! Зачем подданство миллионеру?! Просто захотел взять место и всё. Мог ли я ему отказать?

Андреев. Вы? Разумеется — нет, господин Бастиен! Вы не могли.

Ручин (*тихо Костикову*). Так я пойду, не ко времени сейчас.

Костиков (*так же тихо*). А вы заходите, непременно заходите попозже. Жюри пройдёт — после них ни души не будет. Сегодня всё равно отдел закрыт.

Ручин. Спасибо. Зайду. (*Ручин уходит.*)

Андреев (*увидел Костикова*). Алексей Петрович, вы здесь? Здравствуйте.

Костиков (*снимает фуражку*). Здравствуйте, Евгений Николаевич. Наконец-то вы выздоровели.

Андреев. Позвольте — почему вы в этой фуражке? И каким образом ваши модели оказались в кустарном отделе? Что это значит, господин Бастиен?

Бастиен. Не волнуйтесь, господин комиссар, прошу вас — не волнуйтесь. За время вашего отсутствия пришлось произвести в нашем павильоне незначительные перемещения. Дело в том, что барон Ротшильд...

Андреев. Я спрашиваю не о Ротшильде.

Бастиен. Но барон заплатил за место двойной ценой. И вы сами убедитесь, что его зал — настоящее украшение русского павильона.

Андреев. Какой зал?

Бастиен. Бывший зал технических экспонатов. Но вы не беспокойтесь. Все аппараты и приборы я распоря-

дился разместить по другим отделам. И некоторые от этого даже выиграли — так модели Алмазова, как самоучки, помещены теперь в кустарном отделе. Кстати, здесь была свободная вакансия служителя, и я предложил её Алмазову (*тихо*) — ведь у него ни сантима за душой.

А н д р е е в. Это верно, Алексей Петрович? Верните фуражку господину Бастиену. Мы найдём другой выход из положения.

К о с т и к о в. Я вам очень благодарен, Евгений Николаевич, за вашу заботу. Только наши экспонаты от перемещений их по разным отделам отнюдь не выиграли, как об этом думает господин Бастиен.

А н д р е е в. Я, конечно, с вами согласен, Алексей Петрович. (*К Бастиену.*) Нам придётся вернуться к этому вопросу и пересмотреть ваши мудрые распоряжения, господин заместитель.

Входит В о г ю э.

В о г ю э. Куда же вы ушли, господин комиссар? Члены жюри очень весело завтракают наверху. ЗамоЙский спорит с Голицыным о лошадях, Фай выступает в роли арбитра.

Б а с т и е н. Они должно быть скоро закончат завтрак. Я пойду с вашего разрешения их встретить. (*Уходит.*)

А н д р е е в. Господин академик, видимо, не любит лошадей?

В о г ю э. Отдаю предпочтение людям. Я хотел поговорить с вами, господин Андреев. Право, я неплохо знаю вашу страну и, признаюсь, — удивлён. В разных отделах русского павильона есть великолепные экспонаты. Перед вашими пушными богатствами толпы стоят по целым часам. Но чем отражён прогресс русской техники?

А н д р е е в. К сожалению, я вынужден признаться, что подлинного и всестороннего отражения этого прогресса наш павильон не даёт в силу сложившихся обстоятельств. На это есть ряд причин. Но, даже здесь, в скромной тени этого уголка, выставлены вещи, которые смогут вас заинтересовать. Вы видели экспонаты изобретателя Костикова-Алмазова? (*Указывает на него.*)

В о г ю э (*Костикову*). Какие? Покажите.

К о с т и к о в. С великой охотой, прошу вас.

Бастиен. Господин комиссар! Члены жюри просят, чтобы вы поднялись к ним. Они хотят отдать должное вашей распорядительности и поблагодарить за прекрасный завтрак.

Андреев. Иду. (Вогюэ.) Прошу прощения. (Уходит вместе с Бастиеном.)

Вогюэ. Костиков-Алмазов — это ваша фамилия?

Костиков. Алмазов — это от прозвища.

Вогюэ. В вашей стране такое прозвище нужно заслужить.

Костиков. Откуда вы, господин академик, знаете Россию?

Вогюэ. У меня — жена русская. Бывал в Петербурге и очень давно интересуюсь вашей страной чудес!

Костиков. Чудес у нас, пожалуй, даже лишку.

Вогюэ. Так, расскажите, хоть немного о себе.

Костиков. О себе? Из Сибири я. Там родился, вырос, там и к машинам потянулся. Так с ними жизнь и идёт.

Вогюэ. Наконец-то я слышу о машинах. На выставке их так мало.

Костиков. Мало? Нет, господин академик! Их много. Но они, к сожалению, так разбросаны по нашим залам, что публика, и даже присяжные эксперты, проходят мимо них. Чудесные машины, но под многими экспонатами нет фамилий изобретателей, а некоторые даже не упомянуты в каталоге. Да и не только модели машин. Одно дело меховой магазин фирмы Грюнвальд — вот и медведь с подносом на видном месте стоит, как в шикарном трактире. Другое дело, например, труды по сельскому хозяйству профессора Докучаева — их ведь поискать надо. Прежде чем найдёшь, — много чепухи недостойной на глаза попадётся. И не он один в таком положении. А сколько осталось интереснейших работ там, у нас — ждут не дойдёт ли очередь и до них.

Вогюэ. Всё это, действительно, невесело.

Вбегает корреспондент «Петербургской газеты».

Корреспондент. Пардон, месье! Мне нужно видеть генерального комиссара. Я корреспондент «Петербургской газеты».

В о г ю э. Господин Андреев наверху, в банкетном зале.

К о р р е с п о н д е н т. Экая досада! Адью, месье!
(Убегает.)

К о с т и к о в. Так вот, господин академик, мои модели. Очень возможно, что они выглядят недостаточно эффективно, но когда я делал всё, что вы видите, я думал о практической пользе для моего отечества.

В о г ю э. О практической пользе? В этом вы, кажется, правы. В вашей стране, где вода и ветер долго ещё останутся единственными экономическими движущими силами, весьма первобытные механизмы приносят практической пользы несравненно больше, чем сложные усовершенствования.

К о с т и к о в. Нет! Первобытные механизмы, господин Вогюэ, — это уже прошлое. Вот, например, модели сохи и бороны для Сибири — этим моим изобретениям уже десятый год пошёл... Когда-то на выставках в Екатеринбургe и Саратовe почётные отзывы заслужили... Но в том-то и дело, что до сих пор лежат без движения. (Показывает.) Вот модель передвижной печки — для сжигания уличного мусора, здесь конные и водяные двигатели, плывучие мостки — это уж более сложные механизмы. А это... (Показывает чертёж.)

В о г ю э. Не понимаю, что это такое?

К о с т и к о в. Тропинки.

В о г ю э. Простите? То есть, как тропинки?

К о с т и к о в. Непрерывные дорожки.

В о г ю э. Для чего?

К о с т и к о в. Вы говорите, что знаете Россию. Тогда вы не можете не знать, как много у нас непроходимых, заболоченных низин. Вот для того, чтобы можно было беспрепятственно, избежав опасности быть затянутым в трясиину, пройти по любому болоту, я изобрёл эти подвижные тропинки. Но этого мало. (Достаёт ранее спрятанную модель телеги с непрерывной цепью-тропинкой через колёса.) Они натолкнули меня на мысль о создании особых приспособлений к колёсам экипажей или телег, чтобы легче было по любым нашим дорогам проехать без угрозы завязнуть в грязи. А как это важно для перевозки тяжестей! Для облегчения непосильного труда крестьянина и его заморённой лошадки! Эти тропинки могут быть опорой на любом грунте. Я очень долго думал об этом

как будто нехитром приспособлении, — но до конца ещё не додумал. Не так это просто — вот и модель поэтому пока запрятал, чтобы в глаза не бросалась...

В о г ю э. Любопытно. В высшей степени любопытно... Но позвольте, как же будут они двигаться? Как будут вращаться? Они, повидимому, тяжелы и непрочны!

К о с т и к о в. Думаю и над этим, господин академик. Стараюсь сделать их и лёгкими и прочными. Хотелось бы...

Вбегает корреспондент.

К о р р е с п о н д е н т. Пардон, ещё не были?

В о г ю э (*нетерпеливо*). Не были, господин корреспондент. Андреев — наверху.

К о р р е с п о н д е н т. Был наверху, сказали пошёл вниз. А здесь — середина. Пардон!.. (*Убегает.*)

В о г ю э. Всё это очень интересно. (*Улыбается.*) В жизни много тропинок, но, к сожалению, не каждая из них приводит к цели.

К о с т и к о в. Да, не каждая. Но от своей я не отступлюсь.

В о г ю э. Я хочу подробнее узнать о вашем изобретении. То, что я вижу здесь, очень заинтересовало меня.

К о с т и к о в. Когда я был мальчишкой, я построил мост через Иртыш. Из проволоки. И покрасил его в голубой цвет. Это была моя мечта. Детская мечта, которой не суждено сбыться...

В о г ю э. Да, но то, что я вижу здесь, — это не детская мечта, не воздушные замки, не игрушка из проволоки. Это реальная действительность.

К о с т и к о в. Я хочу верить, что мои тропинки в действительности помогут тем мужикам, которых я видел и на Волге и в Сибири, сбересть хоть немного сил в своём тяжёлом труде. Я верю в эти тропинки. И буду работать до тех пор, пока не доведу начатое до конца. Они уже движутся, господин академик. Смотрите! (*Тянет модель за верёвочку, привязанную к ней.*)

В о г ю э. Мой бог! Они действительно движутся.

К о с т и к о в. Это начало. Ведь, если удастся построить такой экипаж, что за любой грунт сам цепляться будет, сколько рук свободными станут, сколько людей спасибо скажут. Вот — и мечта моя и цель моя!

В о г ю э. Благороднейшая мечта, высокая цель!

Входят члены жюри — Замойский с женой, Розен, Фай, Карт, Бастиен и другие.

Ф а й. Дорогой академик, вы уже здесь?

В о г ю э. Я рад, что пришёл раньше вас, господа. Какие чудесные вещи я видел сейчас.

Ф а й. О, да, в русском павильоне множество чудесных вещей. Какие соболя и горностаи.

З а м о й с к а я (*к мужу*). Вы помните, как восхищался Грюнвальдом Сергей Николаевич? И действительно — это поражает. (*К Вогюэ.*) Мы просто не могли оторваться от меховых витрин.

З а м о й с к и й. Да, дорогая. Но нам же нужно, хотя бы бегло, осмотреть и этот отдел.

Ф а й. С чего же мы начнём, господа?

Р о з е н (*совершенно безразлично*). Можно справа-налево, можно слева-направо.

З а м о й с к и й. Начнём, господа, с того, что поближе. (*Указывая на небольшой ящик под стеклом.*) Что, например, это за прибор?

Б а с т и е н. Это «снаряд Рясовского», для определения годности золотой монеты. Вы опускаете полуимпериал и, если он фальшивый, то в это отверстие он не пройдёт.

З а м о й с к и й. Весьма оригинально. Господа, испытаем?

Р о з е н (*опуская монету*). Прошёл, удивительно!

А н д р е е в. Разве вы сомневались?

З а м о й с к и й. Золотой аппарат!

З а м о й с к а я. Господа, золотому аппарату — золотую награду!

Р о з е н. Это верно, графиня!

Ф а й. Как ваше мнение, господин Карт?

К а р т. Совершенно с вами согласен.

Б а с т и е н записывает.

В о г ю э. А кто такой Рясовский?

Б а с т и е н. Действительный статский советник, господин академик.

В о г ю э (*иронически*). Да? Скажите пожалуйста!

З а м о й с к а я. Но, господа, пойдёмте дальше. (*Переходят к следующему стенду.*)

Р о з е н. Да, да, надо торопиться.

Ф а й. Итак, что это?

Б а с т и е н. Это, господин профессор, настоящие русские лапти.

З а м о й с к и й. Лапти? На бархате, под стеклом?

А н д р е е в (*с негодованием*). Господин Бастиен, как они сюда попали?

Р о з е н. Это моя мысль! Недурно, а?

Ф а й. Господа, лапти — это чудесно! В этом глубокий смысл. На всемирной выставке, знаменующей торжество пара и железа, крестьянские лапти. Это восхитительно!

З а м о й с к и й. А ведь, пожалуй, это оригинально.

З а м о й с к а я. Пойдёмте дальше, господа...

З а м о й с к а я, Г о л и ц ы н проходят вперёд.

А н д р е е в (*останавливая уходящих*). Здесь экспонаты одного сибирского изобретателя.

В о г ю э. Обращаю на них ваше внимание — умные и очень интересные изобретения.

З а м о й с к и й. Ну, что ж, мило, мило. (*Подходят к Костикову.*) Чем же вы увлекаетесь?

К о с т и к о в. Я?

Ф а й. Что вы можете показать нам?

К о с т и к о в (*указывая на модели*). Всё, что имею.

З а м о й с к и й. Всё — это, пожалуй, слишком много.

А н д р е е в. Господа, я предлагаю задержаться. Мне хотелось бы, чтобы наше жюри заинтересовалось работами господина Костикова-Алмазова и привлекло к ним внимание компетентных специалистов.

Ф а й. Однако насколько мне известно, это не входит в наши прямые обязанности. (*Костикову.*) Расскажите нам покорче, что здесь такое.

В о г ю э. Я позволю себе вмешаться. То, что представлено здесь — это забота о будущем.

З а м о й с к и й. Чёрт возьми, если это для будущего, тогда нужно и демонстрировать эти изобретения на будущей выставке.

Пошли к выходу.

З а м о й с к а я (*издали*). Господа, мы ждём вас...

К а р т. Нужно быть джентльменами.

А н д р е е в (*резко*). Это несправедливо, господа!

З а м о й с к и й. Что вы, что вы, господин комиссар!
Мы глубоко ценим ваше мнение. (*Бастияну.*) Господин
Бастиян, прошу вас, запишите — почётный отзыв.

В о г ю э (*возмущённо*). Это же низшая награда!

З а м о й с к и й (*наставительно*). Если каждому экс-
понату присуждать высшую, то она потеряет свою цен-
ность.

З а м о й с к а я (*капризно*). Господа...

Ф а й. Спешим, графиня, к вам...

Члены жюри уходят.

В о г ю э. Не падайте духом, господин изобретатель.
Верю, что ваши модели будут оценены по заслугам. Ин-
женеры, специалисты, наконец, пресса...

А н д р е е в. Я буду ходатайствовать, Алексей Петро-
вич, о назначении специальной экспертизы.

В о г ю э уходит. Вбегает корреспондент.

К о р р е с п о н д е н т. Наконец-то! Господин Андреев?
Андреев. Да?

К о р р е с п о н д е н т. Я — из «Петербургской газе-
ты». Только — самое интересное, самое интересное! Про-
шу вас! (*Достаёт блокнот.*)

А н д р е е в. Вам повезло. (*Показывая на модели
Костикова.*) Вы видите перед собой уголок изобретателя
из народа. Только что удостоен почётного отзыва, и я ве-
рю, что ваша газета расскажет о нём русскому читате-
лю...

К о р р е с п о н д е н т. Но позвольте, почему, из наро-
да? Это странно... Самоучка? Пусть об этом пишет кто-
нибудь другой. «Петербургская газета» и вдруг изобре-
татель из народа. Вы просто смеётесь, господа!

К о с т и к о в. Я понял, что вам нужно, господин кор-
респондент. (*Показывает.*) Вот.

К о р р е с п о н д е н т. Лапти?!

К о с т и к о в. Вы озадачены? Но ведь в солидной га-
зете и лапоть должен выглядеть солидно?

К о р р е с п о н д е н т. Да? А, пожалуй, вы правы. По-
слушайте, это сенсационно — лапти под стеклом. Итак,
рассказывайте. Но никому больше!

Костиков (*серьёзно*). Ну, конечно! Записывайте: русские лапти удостоились на Всемирной Парижской выставке небывалой чести и оваций...

Корреспондент (*записывает*)... оваций...

Костиков. В наш отдел идут искать диковинок. Диковинный самовар, диковинный лапоть и нехватает только диковинного кнута!

Корреспондент. Позвольте, позвольте, это не то!

Андреев. Это именно то, господин корреспондент. И всё это в угоду заморскому вкусу. (*С горечью.*) В наше дело над так называемой русской экзотикой!

Андреев уходит. Входит Карт.

Корреспондент. Пардон, господин, господин...

Карт. Карт.

Корреспондент. Я — корреспондент «Петербургской газеты». Будьте любезны: ваше мнение о лаптях. Оригинально, не правда ли?

Карт. Да, да, я вполне разделяю общие восторги и по-дружески предупреждаю: вас могут опередить. Ваш коллега из Москвы уже убежал на телеграф.

Корреспондент. Что? Пардон, я кланяюсь! (*Убегает.*)

Карт (*подходя к Костикову*). Господин Костиков. Академик Вогюэ в восторге от ваших работ. Признаюсь, что идея тропинок кажется любопытной и мне.

Костиков. Спасибо, хоть на добром слове.

Карт. Слово — пустой звук. Я человек дела, и давайте подумаем, чем можно вам помочь.

Костиков (*горячо*). Чем помочь! Иной раз и доброе слово — большая помощь. (*Показывает ему чертёж тропинок.*)

Карт (*рассматривая чертёжи*). Ваша работа — далеко ещё не совершенство, но я, например, искренне хочу поверить в успех. Страна, которую представляю здесь, всесильна.

Костиков (*насторожённо*). Это какая же страна?

Карт. Америка. Соединённые Штаты.

Костиков. Простите за прямоту, но какое дело Америке до моих тропинок?

Карт. Это — примитивно, дорогой изобретатель! Научитесь смотреть на вещи шире. Не всё ли равно, где ваша идея осуществится? Важен результат.

Костиков. Я не совсем понимаю...

Карт. Хорошо. Объяснимся прямо. Наша фирма могла бы приобрести вашу идею — я говорю идею, потому что работа далеко не закончена. Разумеется, за некоторое вознаграждение.

Костиков. Не знаю, как вас величать, господин хороший...

Карт. Мистер Карт.

Костиков. ...идеями торговать я не умею. Это вам не меха, не кружево, не самовар...

Карт. Иными словами?

Костиков. Зачем же иными. Я прямо привык говорить: торговать не умею и не хочу.

Карт. Вы, русские, странные люди, чудаки! Причём тут торговать? Я предлагаю вам только своё участие. И поверьте — только таким путём и только с помощью настоящих инженеров из всего этого (*показывает на модели*) вы сможете сделать что-то стоящее. А средства — откуда вы их достанете? Вот мы и предлагаем — с-р-е-д-с-т-в-а. Нам нужны вы, а не ваши игрушки. (*Достаёт чековую книжку.*)

Костиков. Я?! Вот что, мистер. Не в тот отдел вы попали. И идите-ка по-добру, по-здорову, а то как бы я вас ненароком не обидел.

Карт. Но-но, милый, не так решительно. Подумайте, я ещё к вам зайду.

Костиков. Не советую беспокоиться — заходить сюда. Понапрасну это будет. Не всё продаётся, что американцу приглянется.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Петербург, 1902 год. Мастерская инженерной академии. На переднем плане большая разборная модель плотины, токарный и сверлильный станки. Позади — модели разборных понтонов, рогатки, ежи из колючей проволоки и другие фортификационные сооружения. Сбоку — уголок Костикова-Алмазова — модели, чертежи.

Костиков и Николай Абросимов работают над моделью плотины.

Костиков (*вытирая лоб*). Говорят, что дурная голова рукам покою не даёт. Так, Николай, а?

Николай. Умная голова, Алексей Петрович. Дурная — она большей частью спокойная, хотя и небезвредная.

Костиков. Держи, философ! (*Протягивает ему конец троса.*)

Николай. Не знаю, какая у меня голова, Алексей Петрович. Может быть некоторым и покажется — дурная. Особенно по той причине, что не тем, чем надо, интересуюсь и книги кой-какие пытаюсь одолеть...

Костиков. Ну и как?

Николай (*задумчиво*). Есть правильные рассуждения.

Костиков. А например?

Николай. А например, так: старьё свой век отживает, а само по себе не разваливается. Ткнуть его сначала по настоящему надо, чтобы новому делу место расчистить.

Костиков (*удивлённо*). Ткнуть надо? (*Смеётся.*) Вот тебе и философия — ничего не скажешь!

Николай (*серьёзно*). И говорить не к чему, Алексей Петрович. Вы любую вещь в жизни возьмите. Новое над старым всегда победу одерживает.

Костиков. Бывает, что и новое в жизни разваливается. И даже без тычков. (*Продолжает работать.*) Я вот одного дьякона знал: пока дедовским и отцовским ремеслом занимался — службы служил, требы правил — всё у него нормально шло. А как только за новое дело принялся, так и потерпел жизненную неудачу.

Николай. Это за какое же дело?

Костиков. За то, которое и нам с тобой сродни.

Николай. Это дьякон-то?

Костиков. Дьякон... Задумал он самоходную машину изобретать. Затворился с дьяконицей и изобретает. Один год просидел, второй, а на третьем появился в миру на собственноручно изобретённой машине. Пар из неё валит, булыжники под колёсами грохочут, на дьяконе только ряска развевается. Горожанам, разумеется, соблазн, а мальчишки улюлюкают.

Николай. Ну это ещё не неудача...

Костиков. Ты слушай! Как только на площадь дьякон выехал — развалилась его машина по частям: одно колесо — вбок, другое — в другой, а паровой котёл — так тот на шесть саженей в сторону отскочил и чуть ли не в присутственное место.

Николай. А дьякон?

Костиков. Дьякон, говорят, после этого в анархисты перешёл. То ли с радости, что от нового дела живым остался, то ли из протеста против неудачи...

Николай. Значит, у вашего механика в рясе души настоящей не было, Алексей Петрович. А я бы на его месте всё сначала начал. — но своего бы добился!

Костиков. Это верно! Только в упорстве, Николай, в нелёгком упорстве достигается намеченная цель. А дойти до неё — много душевной силы иногда надо! Силы, веры... и науки, дорогой мой.

Николай. А для того, чтобы победить — ещё много мужества нужно, Алексей Петрович.

Входит инженер Глушков.

Глушков. Завидую вашему трудолюбию, Алексей Петрович.

Костиков. А я из мастерской никогда во-время не ухожу. Меня ваши чиновники, Виктор Сергеевич, даже за это недолюбливают.

Николай. Не столько за это, Алексей Петрович. Главное — характерами вы с ними не сошлись. Да и смысл жизни у вас другой.

Глушков. Да... В инженерной академии, к сожалению, смысл жизни до сих пор на одном мундире сосредоточен. Иногда, знаете, действительно не поймёшь, где же у нас кончается чиновник, где начинается инженер. Только на уставной оси и крутимся. Дедовские основы с места не сдвинешь — в этом вся суть...

Николай. Чтобы их с места сдвинуть, — сперва кое-что вокруг себя порасшатать не мешает.

Костиков. Ещё как не мешает...

Глушков. Ну, знаете ли... На расшатывание вы не очень рассчитывайте. Немножко свежего воздуха, новых идей, прогресса — и это было бы отлично. (Костикову.) У вас в мастерской, Алексей Петрович, мне легче дышит-

ся — поэтому я здесь такой частый и, может быть, надоедливый гость. Ну, подвигаются ваши работы?

Костиков. В последнее время — только разборная плотина. Вот, посмотрите, — сегодняшние труды. Но когда умышленно торопят, быстро не сделаешь.

Глушков. Кстати, почему с этой моделью такая спешка? Откровенно говоря, её практическая ценность для меня весьма сомнительна.

Костиков. Не скажите. Сама идея сделать плотину разборной заслуживает внимания. И я надеюсь, что когда-нибудь она найдёт применение на деле. Но сейчас Швингеру просто понадобилась новая разборная игрушка.

Николай. ...для академического музея.

Глушков. А ваши цепи-тропинки, Алексей Петрович? Я вижу, они покрылись пылью времён...

Костиков. Да, покрылись...

Глушков. По каким причинам разочарование. Модная болезнь — чёрная меланхолия?

Костиков. Что тут говорить, Виктор Сергеевич, когда я в мелочную лавку — и то задолжал. На какие средства самоходную машину для испытания построить? Модель моя давно готова. Цель, в сущности, уже достигнута. Осталось кое-какие неувязки разрешить — и всё. А дальше?

Глушков. Ну-ну. Велика ли беда, в конце концов, что лавочнику задолжали. Дождёмся и лучших времён.

Костиков. Лавочники — может быть. А я — вряд ли...

Глушков. Почему? Все мы, батенька, под богом ходим. Сегодня граф, а завтра — прах. И наоборот! Вы, кажется, ходатайствовали насчёт субсидии?

Костиков. И не раз! Но получил ответ, что это утверждёнными сметами не предусмотрено.

Николай. По этим-то сметам, Алексей Петрович, совсем другое предусмотрено. А всё же не лавочники лучших времён дождутся. Сами же вот говорите, Виктор Сергеевич: «...а завтра — прах!».

Глушков (*сухо Николаю*). Я совсем не в том смысле, как вы меня поняли, — вернее, хотите понять. (*Костикову*.) Алексей Петрович, мы несколько увлеклись, и мой приход оторвал вас от дела. Да и мне пора. Желаю успеха.

Глушков ушёл.

Николай (*иронически*). За свежим воздухом господин инженер зашёл, а тут, видать, на него сквознячком подуло. Вот и заспешил домой.

Костиков. Ну, ты его напрасно...

Николай. Что напрасно?

Костиков. На Глушкова напрасно, говорю. Таких, как он, здесь немного найдётся. И голова у него светлая и сердце доброе.

Николай. Сердце у него, Алексей Петрович, добренькое, как у многих господ либералов. Поговорить-то о лучших временах они любят, а когда дело до борьбы, до крови дойдёт — за своё добренькое сердце схватятся и в кусты... Там и отсилятся...

Костиков. Да?.. Ты так думаешь?

Николай. Уверен, Алексей Петрович... А вот насчёт вашего самохода он верно заметил. За временем и копотью покрывается. А ведь дело-то какое! Если он пудов пятьсот на себе потянет да по любой дороге на тропинках пройдёт... Я, Алексей Петрович, недавно всю ночь просидел, всё над вашими словами думал.

Костиков (*улыбаясь*). Это над чем же? Ну-ка, поделись.

Николай. Помните, сами сомневались, что на ходу цепи от растяжки не уберечь... Особенно, если на твёрдом грунте работать придётся...

Костиков. В том-то и задача...

Николай (*упавшим голосом*) ...Вот и не получилось...

Костиков (*удивлённо*). Что — не получилось?

Николай. Целую ночь думал — и ничего у меня не получилось, Алексей Петрович. Приспособление я хотел устроить, к шестигранным колёсам, которые тропинки тянуть должны. Если бы двигать их можно было: или вперёд или назад. А они наглухо на оси сидят. Ну, ничего и не выходит.

Костиков (*смеясь*). А ты возьми — ось расшатай. Вот, как Глушкову сейчас советовал...

Николай. Эх, не та это ось, не та основа, Алексей Петрович. Ежели эту расшатай, вроде как у вашего дьякона получится: одно колесо вбок, другое — в другой...

Костиков. Да... основы, брат, сам видишь, — трудно с места сдвинуть... Погоди... давай-ка мы с тобой на модели это посмотрим, а?

Николай. Сейчас достану, Алексей Петрович!

Пока Николай достаёт, Костиков в раздумье ходит по мастерской.

Костиков (*внезапно останавливается*). Значит, натяжкой шестигранник на оси закреплён...

Николай. Вся загвоздка...

Костиков (*наклоняясь над моделью*). А самую ось с места не сдвинешь... Основа — да... А если мы эту самую основу всё-таки перемещать заставим?

Николай. Невозможно. Смотри... прямо на модели... Ось через специальную коробку пропустить...

Костиков. Вот, вот... А коробку по валу перемещать...

Николай. Алексей Петрович! Да ведь это!..

Входит Швингер.

Швингер. Вы здесь, Костиков?

Костиков (*отрываясь от модели*). Я вам нужен, Иван Карлович?

Швингер. Почти. Мне нужна модель плотины. Надеюсь, она уже готова?

Костиков. Не совсем. Вы дали нам несколько ограниченный срок.

Швингер. Вполне достаточный, если принять во внимание, что вас временно освободили от всяких других работ. Но я вижу (*указывает на модель самохода с тропинками*), что вы более увлечены другими вещами.

Костиков. Мы отвлеклись на несколько минут.

Швингер. Могу напомнить, что из минут складываются часы, а из часов складываются дни...

Костиков. Что из этого следует?

Швингер. Сейчас поймёте. Следовательно, потерянные зря минуты — есть потерянные часы и потерянные деньги, которые академия отпускает на производство необходимых ей моделей. А что это? Впрочем, догадываюсь сам. Экипаж без колёс, не так ли?

Костиков. Да, будущий экипаж без колёс...

Швингер. Жаль, что до сих пор вы принимаете инженерную академию за собственную мастерскую для фантастических проектов.

К о с т и к о в. Они не фантастичны. Не фантастичны — хотя бы потому, что нужны. И не просто нужны — необходимы!

Ш в и н г е р. Они необходимы только вам. Но прежде выстройте свою мастерскую. А человек, находящийся на государственном жаловании, должен делать то, что требуется. И тот, кто манкирует этим полезным правилом, весьма рискует своей служебной репутацией. Даже в том случае, если его взяли по просьбе министерства государственных имуществ.

К о с т и к о в. Вы собираетесь лишить меня возможности работать над изобретениями?

Ш в и н г е р. О, нет! Но отдавать казённое место вам на откуп — не в моей власти и, кстати, — не в моих правилах.

К о с т и к о в (*гневно*). Ваши правила меня не удивляют, господин Швингер!

Ш в и н г е р. Тем лучше. Модель плотины... советую быстрее закончить именно её. Только её! И как можно быстрее. А что делает здесь рабочий?

К о с т и к о в. Абросимов — мой помощник..

Ш в и н г е р. ...который также занят предметами, не имеющими ничего общего с его прямыми обязанностями? Я, кажется, не разрешал этого.

Н и к о л а й. Но и не запрещали?

Ш в и н г е р (*Костикову*). Если вам полагается по штату помощник, то у вас будет другой рабочий... господин Костиков...

К о с т и к о в. А мне нужен именно Абросимов. И я настаиваю на том, чтобы он остался в мастерской.

Ш в и н г е р. Потому, что он помогает вам в ваших личных делах? Я пришлю человека, который будет помогать мне... то есть академии. Тем более, что этот Абросимов имеет неважную репутацию.

К о с т и к о в. Репутация человека, господин Швингер, прежде всего — его работа.

Ш в и н г е р. Ваши возражения неуместны. Прошу не забывать, что вы — на императорской службе! (*Уходит.*)

Н и к о л а й (*с иронией*). Я так думаю, Алексей Петрович, — вы этого никогда не забываете.

З а н а в е с

КАРТИНА СЕДЬМАЯ

Кабинет Швингера в Инженерной академии. Вторая половина дня. На окнах приспущены шторы. Швингер в наглухо застёгнутом мундире, Карт — в лёгком костюме.

Карт. От моих прежних посещений русской столицы у меня сохранились чудесные воспоминания о Петербурге, дорогой Швингер.

Швингер. О, здесь есть достопримечательности: коллекции Эрмитажа, фонтаны Петергофа, Исаакиевский собор...

Карт. Собор? Не помню... Нет. Ресторан Донон, закат солнца на Стрелке, поплавок на Неве. Всё это существует, Швингер?

Швингер. Аккуратнейшим образом... И прибавьте ещё: Аквариум и Вилла Роде...

Карт. Мы обедаем сегодня вместе?

Швингер. С колоссальным удовольствием — после пяти часов я весь в вашем распоряжении...

Карт. А до пяти?

Швингер. Всегда могут беспокоить... Давать указания и распоряжения, решать административные вопросы, — на это иногда уходит служебное время. *(Смеётся.)*

Карт. Вы бюрократ, Швингер! По старой немецкой системе «ганц аккурат». Да расстегнитесь, — ведь в этой тропической жаре вы неизбежно должны растаять — и я могу лишиться приятного собеседника.

Швингер. Нельзя. Привычка к порядку...

Карт *(смеясь)*. Ваши прадеды, основавшие Пруссию, умели во-время нарушать порядки. А нынешнее поколение, дорогой Швингер, оно... оно вырождается...

Швингер *(торжественно)*. Мой прадед, Август фон Швингер, господин Карт, верой и правдой служил русскому императору Николаю Первому, как я служу своему государю Николаю Второму. Верой и правдой, господин Карт...

Карт. Это похвально и в высшей степени патриотично. Но скажите откровенно: неужели в вашей душе никогда не возникает далёкого зова предков? Зи зинддох хейматслож!

Швингер. Вы знаете и немецкий язык, господин Карт?

К а р т. Мне известны и русские и немецкие слова... Но говорю я только по-американски.

Ш в и н г е р. Вы хотите сказать — по-английски? Разве возможно говорить по-американски?

К а р т. На мой взгляд — просто необходимо. Особенно в России. К сожалению, я здесь лишь мимолётный гость. Очень много дел и поручений, Швингер. Фирма «Робертс и сыновья» имеет свои интересы в Бельгии, в Мадриде, даже в Константинополе. Через день-два я буду уже в пути. В Чикаго жду моих сообщений.

Ш в и н г е р. О, Чикаго! Это колоссально! Я имел счастье быть десять лет тому назад на грандиозной выставке...

К а р т. Вы были, да? Вы что-нибудь экспонировали?

Ш в и н г е р. О, нет, мистер, Карт. Я был всего скромным административным чиновником русского отдела.

К а р т. Жаль, что тогда мы не были знакомы с вами. Но это интересное совпадение. Я знаю ещё одного человека, здесь у вас, в академии, бывшего на выставке в Чикаго. Я с ним познакомился ещё ранее в Париже. Механик — с такой трудной русской фамилией из двух слов.

Ш в и н г е р (*презрительно*). Я знаю, о ком вы говорите.

К а р т. Знаете? Я так и думал. Чем же он занят в настоящее время?

Ш в и н г е р. Я очень мало этим интересовался, господин Карт.

К а р т. Напрасно, дорогой Швингер. Вы недалёковидны. Это недостаток для тех, кто хочет быть в дружбе со мной и с фирмой «Робертс и сыновья». Таким людям, как этот изобретатель, надо помогать. Понятно? Оказывать помощь.

Ш в и н г е р (*удивлённо*). Я никак не ожидал, мистер Карт, что вы хотите помогать этому Костикову в его... изобретениях? Мне кажется, что это есть фантастика...

К а р т. Конечно, может быть немного и фантастично. Но я отвечу вам вполне доверительно. О его изобретении подвижных тропинок случайно стало известно нашей фирме. А «Робертс и сыновья» даже в Америке славятся своим демократизмом. И они, несомненно, могли бы принять участие в его судьбе, которая до сих пор не балует

подающего скромные надежды механика, и помочь ему в его изобретениях...

Швингер (*горячась*). Но Костиков бездарен, господин Карт! Ваши «Робертс и сыновья»...

Карт (*перебивая*). Что поделаешь, мой друг. Демократическая фирма должна время от времени рисковать. В данном случае она желает рискнуть — это её дело.

Швингер (*пожимая плечами*). Разумеется... (*Иронически.*) Боюсь только, что соха и борона для Сибири, «изобретённые» Костиковым, вряд ли найдут применение за океаном. И кроме того, он настолько ограничен и упрямым, что, пожалуй, откажется от вашей помощи.

Карт. Возможно, что в своё время нам понадобится и соха... для Сибири. А что касается отказа — это вполне вероятно. Дважды это уже произошло. И не стоит в третий раз испытывать providение.

Швингер. Позвольте... Ведь вы только что говорили...

Карт (*снова перебивая*). В трудную минуту люди сами начинают искать поддержки. Тогда их не приходится долго уговаривать. Вам ясна моя мысль?

Швингер. Не совсем, господин Карт.

Карт. Ну, представьте себе, что в один из петербургских вечеров вы случайно теряете чертежи, над которыми работали несколько лет. Чертежи этих самых тропинок. Начинать дело сначала, Швингер? А хотя бы минимальные средства? Ведь бедность давно уже перешагнула порог вашей комнаты. А время? Хватит ли его, чтобы начать сначала? И если ваши чертежи случайно находит доброжелатель, неужели вы откажетесь от его дружеской помощи из-за дурацкого принципа: только я — и только для моей страны? Человек устаёт, Швингер, всю жизнь бороться с трудностями. Это закономерно и очень естественно.

Швингер. Однако Костиков не собирается терять чертежи.

Карт. Вот поэтому-то я так долго и сижу в этой страшно жаркой комнате и беседую с вами...

Швингер (*возмущённо*). Господин Карт!...

Карт. «Робертс и сыновья» умеют ценить маленькие дружеские услуги.

Входит Глушков.

Глушков. Новость, новость, господа! (*Увидя Карт.*) Мистер Карт! Вы — в наших пенатах! Очень, очень рад вас видеть.

Карт. И я рад, что могу исполнить приятное поручение, мистер Глушков. Наши инженеры, узнав о моей поездке, просили передать вам своё восхищение вашим горным буровом.

Глушков (*польщённый*). Я польщён, мистер Карт. Не сомневаюсь, однако, что американские буравы не только не уступают нашим, но и превосходят их.

Швингер. А в чём же заключается новость?

Глушков. Её величество удостоило академию большой чести. Сотрудник академии Костиков-Алмазов...

Швингер. Что?!

Глушков ...только что получил высочайший подарок. Две тысячи рублей! Высокий талант нашёл высокого покровителя.

Карт (*взглянув на Швингера*). Вы приносите счастье, мистер Глушков.

Швингер (*нервно расстёгивая воротник мундира*). Две тысячи... Но почему, почему?... За что?

Глушков. То есть, как за что? Модели, машины, двигатели, приспособления. Вам недостаточно, господин Швингер?

Швингер. Высочайший подарок... Но ведь все его машины это... Это миф, фантазия... Нет, не понимаю...

Глушков (*укоризненно смотрит на Швингера*). Нехватает вам веры в человека, Иван Карлович. И напрасно! Отправьте-ка такого изобретателя за границу, развяжите ему инициативу, — он вам таких небоскрёбов понастроит!.. А у нас сословные предрассудки довлеют! (*Безнадёжно махнул рукой.*)

Карт. Мистер Глушков, мне кажется, абсолютно прав. Только в Америке — самый широкий демократический простор.

Глушков. Да, да и да! Я очень рад, что мы с вами понимаем друг друга. (*Смотрит на часы.*) Мы ещё увидимся, мистер Карт. А сейчас — простите — я тороплюсь. (*Уходит.*)

Карт (*мрачно*). Положение очень испортилось. Теперь этот медведь вцепится в свою машину. Сейчас у него достаточно денег, чтобы закончить дело. Надо ехать.

Швингер. Да! О, да! Две тысячи золотом — это...

Карт. Но мы с вами, Швингер, теряем значительно больше... Так как фирма «Робертс и сыновья» богаче вашей императрицы... и, между нами говоря, — может быть щедрее её.

Швингер. Зачем же нам терять, господин Карт, такую сумму, которая больше двух тысяч? Это есть пессимизм! Если всё дело в чертежах этой тропинки, то пусть он их потеряет. Мы постараемся их найти...

Карт. Чертежи? Этого мало. Он должен потерять и модель. Тогда пессимизм может превратиться в оптимизм изделия фирмы «Робертс и сыновья». Я мыслю и действую только конкретно, только по-американски, только в деловых решениях таких тонких, деликатных вопросов, как случайные потери и счастливые находки...

Швингер. Ваша уважаемая фирма...

Карт. ...должна иметь всё. Всё, что нас интересует. А это в данном случае означает, что у Костикова не должно остаться ничего. Чтоб он не смог быстро восстановить потерю... Во всяком случае, пока она не будет реализована нашей фирмой. В соответствии с этим и ваш труд, Швингер, будет оценён по достоинству. Воспользовавшись его потерей, мы должны в ближайшее время выпустить первую в мире самоходную машину с маркой фирмы «Робертс и сыновья»... Вот цель, которая оправдывает средства!

Швингер. Однако модели — слишком громоздкие вещи, чтобы они могли потеряться.

Карт. Я приехал сюда не за тем, чтобы быть заподозренным в присвоении чужой собственности. Собственность священна, мой коллега. Но даже застрахованная собственность не вечна. *(Многозначительно.)* А насколько мне известно, стихийное бедствие в вашем городе — не такое редкое явление. Вы, разумеется, знакомы с расположением мастерской этого самоучки?

Швингер. До некоторой степени, господин Карт.

Карт *(машинально вертя в руке коробку спичек)*. При стихийных бедствиях от любой собственности остаётся иногда только пепел. Особенно, если поблизости достаточно легко воспламеняющихся веществ. В таких происшествиях иногда погибают ценные модели — но случайно могут уцелеть ещё более ценные чертежи... Эта случайность должна быть хорошо предварительно

подготовлена. Я надеюсь, вам всё понятно, господин фон-Швингер?

Швингер. Меня всё беспокоит, господин Карт...

Карт. Я разрешу ваше беспокойство. Чек—на предъявителя — и здесь же! *(Вынимает перо и чековую книжечку.)*

Занавес

КАРТИНА ВОСЬМАЯ

Вечер. Комната Костикова-Алмазова. Простая, даже бедная обстановка. Над рабочим столом, в рамках, — дипломы, почётные отзывы.

Костиков *(входит с письмом)*. От Ани... *(Садится, вскрывает конверт, читает.)* Живы, здоровы... Так, так... Вот оно — Алёшка в школу пошёл... Держись, парень, держись!... Пусть из рода Костиковых учёный человек выйдет. Побывать бы у них!...

Входит Николай.

Николай. Добрый вечер, Алексей Петрович.

Костиков. Фу ты, чёрт тебя возьми совсем — целую неделю тебя не видно. Как уволили, так и пропал. Я уж хотел итти на розыски. Беспокоился всё ли у тебя благополучно.

Николай. Спасибо, Алексей Петрович. Конечно — не всё в порядке.

Костиков. Понимаю, понимаю. Работу ищешь? По заводам да по мастерским? А того не подозреваешь, что работа тебя ждёт!

Николай. Хлопотали, наверное, за меня у начальства? Эх, Алексей Петрович... Не думаю, что Швингеры допустят мою крамольную душу снова в академию; не обнадёживайтесь. Они разгадали, что я им враг... И в случае, если вам даже что-либо пообещали, — не верьте.

Костиков. Вот и не угадал! Ничего мне не обещали, ибо никого ни о чём я и не просил. Совсем не то. Не знаешь ты о событии немаловажном, — и даже не подозреваешь, с какого конца догадываться. *(Улыбается.)*

Ведь самоход-то строить будем, Николай,— это уж теперь непременно!

Николай. Неужели же в академии такой поворот событий, что чиновники в вашу идею уверовали?

Костиков. И снова не то. Академия тут ни при чём. Подымай выше!

Николай. Министерство?

Костиков. Куда там! Ещё выше!

Николай. Не понимаю, Алексей Петрович, честное слово — поверить трудно.

Костиков. Никто, брат, кроме нас с тобой и господа бога, и не хочет верить в нашу машину...

Николай. ...но и богу до вас дела нет,— так куда же выше подымать, Алексей Петрович?

Костиков. Так вот, дорогой мой. Через день или два как мы с тобой расстались — да; короче говоря, третьего дня, получил я извещение. Знаешь откуда? Из министерства императорского двора. На две тысячи рублей.

Николай (*изумлённо*). За изобретения ваши? За самоходную машину?

Николай. Нет, брат, конечно не за то! За оборудование в Гатчинском дворце водопровода. С фильтрами. Собственной конструкции. Но ты понимаешь, как кстати, оказывается, я их придумал, а? Ведь эти фильтры теперь помогут мечте осуществиться,— чуешь? Ведь эти две тысячи — они фундаментом будут. Правда, кое-что сёстрам послать нужно: больше-то не о ком мне заботиться. Вот письмо сейчас получил, племянник Алёшка в школу собирается. Но начинать можем, Николай! Можем — и уж не модель, а кое-что поосновательней. Вот, брат, в волнении каком я эти два дня нахожусь...

Николай. Да, случай, Алексей Петрович, действительно... неожиданный.

Костиков. Вчера до поздней ночи в мастерской просидел: расчёты последние проверил, над чертежами бился — винт подвижной и смещение осей прикидывал. Да, забыл, понимаешь, что сегодня воскресенье — не взял с собой чертежи на дом. Вот день целый и пропал. Сегодня утром сунулся в академию — куда там. Знаешь, теперь охрана строга — не положено заходить в праздничный день — и конец.

Николай. Знаю, Алексей Петрович. Страх за штыки прячут.

Костиков. За штыки, именно. Так и не пустили. Вот, дорогой мой, какие дела.

Входит Ручин.

Ручин. Открыто живёшь, Алексей Петрович. Двери настежь — жуликов не боишься... Моё почтение, Николай Васильевич!

Николай. Здравствуйте, Ефим Лукич. Давно вас не видел.

Костиков. А чего мне их бояться? Почётными отзывами они не интересуются.

Ручин (*усаживаясь*). Нынче кто чем интересуется, — сразу и не поймёшь. Два месяца в Питере не был, а сейчас к тебе шёл, — так уж куда больше — хребтиной моей поинтересовались.

Николай. Хребтиной?

Ручин. Ей самой. Среди бела дня казак наехал да по хребтине и огрел.

Костиков. Погоди, погоди, за что?

Ручин. Ему виднее... Уезжал я — всё тихо было, приехал — на глазах у всех нагайками хлещут. Новая мода пошла.

Николай. Моды меняются, Ефим Лукич. Не век и этой быть.

Ручин. А портные-то пока что остаются. Те, что модами заведуют.

Николай. Да, пока что — заведуют. Только всё труднее этим портным приходится. Вот и нагайки в ход пошли.

Костиков. И штыки в академии.

Николай. А это уж для них последнее дело, Ефим Лукич. (*Костиков уходит. За окном цоканье копыт.*) Легки на помине.

Костиков (*входит. Пауза. Наливая чай*). Тебе покрепче, Ефим Лукич?

Ручин. Крепкий чай, милый человек, первое дело. Французы всё больше вино, либо кофий с ликёром, а я вот не привык. С тех пор, как из Парижа переехал — никак досыта чаем не напьюсь.

Николай. Так как же Саратов, Ефим Лукич?

Ручин. Ехал — думал, не узнаю. Ведь полста лет прошло. А смотрю — всё такой же: лабазы, купцы. Да

лучше бы и не ездил! Плохую весть тебе оттуда привёз, Алексей Петрович.

Костиков. Весть? От кого?

Ручин. От племяша, будь он неладен. Так, к слову пришлось, что рассказал я ему, между прочим, о твоей работе. О тропинках, значит, ну и... *(Достаёт бумажник.)* Вот сами и глядите, что он мне раздобыл и вам показать велел. *(Достаёт старую газету.)*

Костиков. Что, где?

Ручин. Там, в самом конце, карандашиком помечено.

Николай *(встаёт)*. Да что случилось, Ефим Лукич?

Ручин *(машет рукой)*. И не говори...

Костиков *(читает)*... «К дому мещанина Нестерова неизвестно кем подкинут младенец мужского пола...» Фу, чепуха какая! Это — к чему же?

Ручин. Да нет, пониже, Алексей Петрович.

Костиков. «Вольск... крестьянин Блинов... машину...» *(Взволнованно.)* Нет, погодите, погодите, слушайте же! «Крестьянин Блинов изобрёл машину с подвижными рельсами. Устройство незамысловатое. Рельсы пристроены к маленьким плиткам, особым устройством передних и задних колёс, движутся наподобие приводного шкива. Машина обещает громадную выгоду и применение во всех местностях...» Да ведь это... Это же тропинки!

Николай. Когда? Когда это было?

Костиков. Да, да. *(Переворачивает газету.)* «Саратовский листок», 4 января 1881 года. Двадцать лет! Не понимаю, ничего не понимаю! *(Быстро ходит по комнате.)*

Николай берёт газету, внимательно перечитывает.

Ручин. Не терзай ты себя, Алексей Петрович.

Костиков. Двадцать лет прошло — и ничего до сих пор не знать!

Ручин. Господи, твоя воля!

Николай *(откидывая газету)*. Вы сами, Ефим Лукич, не волнуйтесь.

Ручин. Как же не волноваться. Он *(показывает на Костикова)* в новинку думал, а тут...

Костиков *(останавливаясь)*. Вот это и замечательно! Значит, мысль не у одного меня назрела, значит, на

правильном пути! Письмо ему и — немедленно! Только бы жив, только бы встретиться! Да вместе, вместе!

Николай. Правильно!

Ручин. Вот оно что...

Костиков. В ноги ему поклониться, крестьянину Блинову!

Николай. Будет время, Алексей Петрович, и поклонятся.

Костиков. Так ведь — забыли уж... Наверняка забыли. Двадцать лет!... Простой человек, — а какой размах мысли. Верно когда-то Андреев-Бурлак сказал: «Кольбель дарований — русская провинция, да только гаснут они, как искры». Как он говорил, так и вышло. «Не настали, говорит, времена, почва не подготовлена».

Николай. Подготовлена, Алексей Петрович! И времена подходят.

Костиков. Когда же это будет, Николай?

Николай. Будет, Алексей Петрович! Восторжествуют на земле и правда и разум! По-новому люди жизнь построят.

Ручин. Кто же эти люди, видел ты их что ли?

Николай. Видал, Ефим Лукич. И знаю их хорошо. Да и вы видели, только не разглядели..

Костиков (*задумчиво*). Может быть и так. А сколько их, таких людей, Николай?

Николай. Много! И с каждым днём — всё больше и больше.

Костиков. Читал я кое-что, читал и слышал. Может быть, и правда, за своими тропинками жизнь я проглядел?

Николай. Нет, Алексей Петрович. Послужат и тропинки народу. И вам и Блинову спасибо скажут, имён ваших не забудут! Я вот даже об этом стихи написал.

Костиков. Ты — стихи?

Николай.

Я верю в грядущее Родины,
Пускай невесёлая быль,
Пускай кандалами колодники
Метут придорожную пыль,
Пускай — и погибнем мы многие,
Но правду познавший народ
На светлую эту дорогу
Русской тропинкой придёт.

Нам к радости двери откроют,
И все мы увидим тогда —
Счастье над русской землёю
Взойдёт, как на зорьке звезда!..

Последние слова Николая тонут в шуме. За окном—топот, крики

Николай (*бросается к окну*). Горит! Где-то близко! Пожар!

Костиков (*распахивая окно*). Не в академии ли? (*Быстро повернулся, уронил стул.*) А чёрт!.. (*Выбегает из комнаты.*)

Николай. Скорей! (*Выбегает за ним.*)

Ручин. Господи, несчастье какое! (*Спешит за ними.*)

Сцена пуста. В окне—заревое, за окном нарастает шум, затем гаснет свет. Пауза. Сцена освещается. Ночь. Над столом горит лампа. Костиков сидит на кровати в обгоревшей одежде. Глушков нервно ходит по комнате. Ручин сидит у стола, опустив голову на руки. Николай стоит у кровати.

Глушков. Но как же это, господа? Я до сих пор не могу поверить, чтобы в академии могли допустить!..

Николай. Загорелся склад, он рядом. А там и керосин и олифа... Да что тут говорить!.. Не без умысла это!.. Одно слово — интендантство.

Ручин. Оно, конечно!.. Пока пожарные-то приехали — костром уж полыхало. На мастерскую и перекинуло!..

Глушков. Вся мастерская — до тла!.. Чертежи, модели — всё прахом!..

Костиков. Нет, не прахом!.. Не может этого быть. Не поверю я никогда!..

Ручин. Чему не поверить-то? Сам же видел!..

Костиков (*поднимаясь с постели*). Не об этом я!.. Не поверю я, что годы, десятки лет труда, исканий, бессонных ночей прахом пошли. Пропало, значит, всё? Не может этого быть, не может, говорю я вам!.. Мысль человеческая ни в каком огне не сгорит!.. (*Воодушевляясь.*) Незаметной тропинкой выведет она на большую, светлую дорогу — и не заглохнут, не зарастут тропинки наши на русской земле!.. И моя тропинка среди них не затеряется, не сгорит в пожаре этом!.. Мысль — не умрёт, нет — если она светлая, от разума, от правды, от

жизни рождённая!.. Не в нас — так в детях, во внуках наших жить будет. *(Подходит к Николаю.)* Ты сказал, Николай, что почва подготовлена для новой жизни и что люди новые есть,— и я верю тебе. Нет, не прахом всё пошло, друзья мои, не прахом! И подвижные рельсы крестьянина Блинова и моя тропинка — это тоже пути к новой жизни... Верю в это! Несмотря на горести мои, на уничтожение трудов моих, на судьбу тяжёлую. Ибо в будущее смотрю я с надеждой и верой в людей, с любовью к народу, к многострадальной Родине нашей!..

Занавес

IV

Т. Гончарова

ПО ЗОВУ ПАРТИИ

Это тоже войдёт в историю Советского государства, останется в летописях и в памяти народа как одна из славных её страниц...

Писатели напишут об этом книги и, может быть, товарищ, который положил сейчас своё заявление на стол секретаря райкома и теперь взволнованно всматривается в его лицо, станет одним из героев новых книг.

...Уже несколько дней в кабинете секретаря Молотовского райкома партии идут эти беседы, звучат не совсем непривычные для городского райкома слова: тракторная бригада, урожайность, почвы, агрономическая культура...

— Скажите, а можно ли поехать группой в несколько человек в одну МТС. Подбирается в цехе у нас горячий народ, крепкий, квалифицированный. Найдём всех — от директора МТС до слесаря, до тракториста, даже агрономы есть и зоотехники. И пусть бы направили нас в самую отстающую станцию...

Это говорит техник Игнатьев. Он вошёл стремительно, но сел на предложенный ему стул, сразу объявил, что сельское хозяйство — его жизненное призвание. И удивил всех, сообщив, что он, много лет работающий на заводе, — студент четвёртого курса заочного отделения сельскохозяйственного института.

...Идут по зову партии в её районные комитеты с заявлениями о своём желании работать в деревне, о своей готовности воплотить в жизнь веления партии коммунисты, комсомольцы, беспартийные инженеры, техники, слесари, токари, агрономы, зоотехники...

Изъявил желание поехать на работу в деревню старший конструктор Омского ремзавода Валерий Кронидович Рязанов.

— Такое сложилось убеждение, что надо ехать. И у жены такой же взгляд. Она — фельдшер. Это в деревне тоже нужная специальность. Мы так и решили — необходимо ехать. Конечно, первое время будет трудно. Но где трудно — там настоящее боевое дело...

Едут в деревню инженеры Пантелеев, Литвинов, Горбунов, Шариков, Матвеев, Абрамов, Хлыстов, техник-мастера Коваленко, Алексеев, Шикредов, Ботов, Уличев, Каретников, Клаас, Поляков, Филимонов и сотни других.

Едут специалисты сельского хозяйства с высшим и средним образованием.

На работу в МТС едет ассистент кафедры технологии металлов Сибирского автодорожного института Иван Константинович Косаченко, чтобы там сочетать практику с научно-исследовательской деятельностью. Заявление с просьбой направить на работу в деревню принёс в Сталинский райком партии Александр Николаевич Каштанов — научный сотрудник Сибниизхоза, выпускник Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

... Золотая нынче осень — словно впитала всё солнце ушедшего лета. Жарким пламенем горят бsrёзовые рощи, влагой набухли рыжие поляны, а небо ослепительной синевы и такое просторное... Не наглядишься на красоту земли. Не увяданием, нет, а жаждой новой жизни дышит природа.

Такой, полной счастливых обещаний, кажется нынче осень Александру Николаевичу Каштанову. Он смотрит

в окно, за которым стоят багряные рощи Сибнинизхоза, и молодое его лицо, и светлые, чуть прищуренные глаза полны больших раздумий.

Перед ним на столе, перечитанная уже не раз, выписка из приказа: «В соответствии с постановлением сентябрьского Пленума ЦК КПСС... направляется в Ольгинскую МТС, Полтавского района, в качестве главного агронома».

Ну да, ведь это так ясно, и он сам думал всегда: место агронома — на колхозном поле.

...И это письмо. Он случайно натолкнулся на него сегодня, очищая ящики стола. Перечёл с волнением большим, чем тогда, зимой, когда только получил его.

...Тимирязевка, друзья-товарищи, лекции Лысенко, Якушкина, Жуковского, ожесточённые споры с морганистами. Незабываемая студенческая пора.

Где же вы, друзья-однополчане? Со всех концов советской земли откликаются их молодые голоса.

«Сашка, дорогой, привет!!!

Только сейчас мне дали твоё письмо. Как же я обрадовался! Ведь столько времени бок о бок проучиться вместе, столько километров пройти по твоим следам на лыжах — это что-нибудь да значит! Вспомни, представь себе наш Тимирязевский парк зимой, вспомни годы учения, споры, мечты. Вспомни же всё это, и ты поймёшь, как мы близки, товарищ Каштанов...

Работаю я самым маленьким колхозным агрономом в спецхозе по травам. Колхоз наш укрупнённый — 15 деревень, 3000 гектаров земли в обработке. Ты думаешь, у нас дремучие брянские леса, волки? Нет, Сашка, у нас — чернозёмы, степь, как на Украине... Есть у нас плодовые сады, пасека, большое животноводческое хозяйство. Есть где развернуться.

Председатель здесь — новый человек. Мы с ним пришли сюда почти одновременно. Он с высшим образованием, 25 лет работает, очень энергичный, предприимчивый, горячий мужик; он и агроном, он и механик (был в армии), он и животновод, и строитель — в общем на все руки. Многому я у него научился.

Ну, теперь, представляешь, Сашка, какой объём работы?

Думал придётся поскучать зимой, но не тут-то было. Зимой агроному дел по горло: подготовка семян, удобре-

ний, снегозадержание, планы, графики, отчёты, совещания. Но ничего, ещё отдохнём, дай только наладить дело.

Нравится мне, Сашка, производство. Хорошо прямо на живом деле показывать, рассказывать, учить. Очень рад, что попал именно в колхоз, а не в райзо или ещё куда повыше. Здесь проникаешь ежедневно в такие мелочи и тонкости, каких нет и в помине ни в одном учебнике. Производство это такая школа: каждый день приносит новое, каждый день учусь.

Теперь о личной жизни. Изменений никаких не произошло».

И последняя строчка карандашом: «Спешу, Сашка, писал 28 января 1953 года. Юрий Чамов».

— Вот они, орлята Тимирязевки, вот они друзья-однополчане! — с волнением думает Александр Николаевич, перечитывая письмо.

О «личной» жизни — строку. Личная жизнь! Так ведь она и есть — горение в труде, творчестве, и без этого никакой вообще жизни нельзя представить...

Диплом агронома... Александру Николаевичу вспомнились искалеченные войной подмосковные поля... Идёт по ним светловолосый в ситцевой рубашке крестьянский паренёк. Весна. Одну песню с трактором поют быстрые ручьи, а земля лежит — непохожая на себя, в глубоких рытвинах, воронках, израненная ржавыми осколками снарядов, опутанная колючей проволокой.

Идёт паренёк из деревни в подмосковный городок и видит: стоит на дороге в голубой косынке, в пёстрой юбочонке девушка с милыми глазами, стоит и разминает маленькими руками комок сырой земли...

— Откуда путь держишь, добрый молодец? — спрашивает она лукаво. А молодцу всего 14 лет...

И ответил добрый молодец накуривейшим басом:

— А ты кто такая?

— Я-то? О! Я помощник солнца — агроном. Знаешь, что такое агроном?

И впрямь глядела она, как солнечный ласковый луч...

Может быть, крестьянское детство и уважение к труду хлебороба, а может быть, та израненная земля, которую поднимала своими бережливыми руками ясноглазая девушка-агроном, а может быть, и её мудрые слова: агроном — помощник солнца, а вернее — всё это вместе

привели Александра Николаевича в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева.

Диплом агронома... Други милые! Помните ли романтику юности? Помните ли часы, когда впервые читали мы Мичурина, Вильямса, Тимирязева, Докучаева, Костычева?

Помните ли вы эти простые и чудесные слова, обращённые академиком Вильямсом к мастерам сельского хозяйства:

«Какая цель сельскохозяйственного производства? Что мы производим? Мы производим скрытую (потенциальную) энергию, ту энергию, которая лежит в основе всей жизни человека. Мы производим пищу... доставляем человечеству... материалы для одежды и обуви, материалы для построек и материалы для топлива... Солнечный свет — основной первичный материал сельскохозяйственного производства».

Солнечный свет — материал агронома. В плодах земли он преобразует энергию солнца, чтобы отдать её человеку. И как они были все правы большие русские земледеды: диплом агронома защищается в поле.

Теперь-то я отвечаю тебе, товарищ Юрий Чамов, по-настоящему, дай только окунуться в работу. Воображаю, как радуешься ты теперь, читая людям постановление Пленума Центрального Комитета партии, как выступаешь на собраниях, обсуждая новые планы, как встречаешь каждого человека, прибывшего и вернувшегося на работу в колхоз. Как широко размахнул ты свои крылья, тимирязевский орлёнок. И все вы, дорогие друзья, в Тамбовщине и Смоленщине, в Сибири, на Украине, в Подмоскovie и Якутии...

Так беседовал со своим далёким другом Александр Каштанов. И все свои мысли вложил он в немногие строки:

«Друг Юрий, — написал он перед отъездом в МТС, — ещё раз, случайно, перечитал твоё январское письмо. Я не помню, что я тогда тебе ответил. Хочется ответить на него ещё раз. Ты правильный парень, Юрка. Узнай же — еду работать в деревню, еду по собственному и горячему желанию. И хочется сказать словами из твоего же письма: производство — это такая школа, каждый день учит. Именно здесь — на практике я сумею завершить начатую научную работу».

Всё остальное, что я хотел бы тебе написать, ты можешь прочесть в сентябрьском постановлении Пленума ЦК КПСС, в докладе товарища Хрущёва. Дай руку и пожелаем друг другу удачи, удачи во всех добрых делах.

Теперь о личной жизни. Она у нас стала такой широкой, что впитала в себя всю нашу трудовую, научную, общественную жизнь. Но ты, я знаю, о чём хотел бы знать. Нет, ещё не женился. Это ещё впереди. Мы все ещё студенты, Юра, мы ещё должны защитить свои дипломы».

Как свежо и волнующе звучат сейчас для агронома слова В. Р. Вильямса: «Агроном — звание очень почётное в нашем Советском Союзе. Его задача — покрыть страну высокоурожайными полями и садами, повысить плодородие почвы до невиданных размеров — задача очень ответственная и благодарная. Агроном — это творец плодородия, которое обеспечит нашим трудящимся изобилие продуктов». На производство, к труду, к творчеству зовёт жизнь преобразователей природы.

Люди обдумывают эту свою новую жизнь. Работать придётся много, жарко, работать с техникой, с людьми, поднимать ещё выше культуру сельскохозяйственного производства и активно включиться в общественную и культурную жизнь села.

— Мы понесём культуру промышленного производства в МТС, в совхозы, в колхозы, — говорят передовые люди промышленности Омска, откликнувшиеся на призыв партии. — Мы знаем — будет трудно. Но это не страшит нас.

Что-то общее есть у всех этих таких разных людей, какая-то строгость и собранность. Это вновь рабочий класс шлёт в помощь своему союзнику — колхозному крестьянству — свою боевую бригаду.

Вспоминаются другие, огневые годы... Годы, когда вздыбленная, поднятая под самый корень, гремящая митингами, собраниями, сходами деревня ломала свои вековые устои. Годы, когда озверевший кулак стрелял в новую жизнь из обреза. Годы, когда только появлялись на полях первые тракторы. Годы, когда ещё бабы бегали

на колхозный двор поплакать над тёплым ухом своей обобществлённой бурёнки, а мужики спорили, чью конягу запрягать, хотя коняга была уже общей..

Тогда призвала партия двадцать пять тысяч своих сынов на работу в деревню. Ехали коммунисты — ветераны заводов, люди, закалённые в битвах революции.

Трудное, суровое и радостное было время. Как далека та мятущаяся, только вырвавшаяся к свету деревня от теперешней — колхозной, вооружённой трактором и комбайном, агрономической наукой, электричеством и книгой и, главное, кадрами мастеров социалистического сельского хозяйства.

Тогда люди ехали поднимать деревню, строить колхозы. Сейчас они едут помогать колхозному крестьянству растить, развивать, укреплять завоевание социализма в деревне, создавать обилие продуктов, поднимать благосостояние советского народа на небывалую высоту, приближать свершение великой и прекрасной цели — коммунизм.

Счастливого пути, товарищ, едущий на работу в деревню! Большого успеха!

Омск, сентябрь 1953 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I

Степан Козлов	
Иртыш	3
Мой город	5
В дороге	5
Моё поколение	7
Николай Почивалин	
Партийный гимн	9
Стихи о моём друге	9
Вечно живой	13
Первое сентября	14
На Иртыше	15
Игорь Листов	
Дорога	17
Мужество	18
Скорее в путь	19
Встреча с героем	20
Яков Горчаков	
Весной	22
Летний дождь	22
Здравствуй, школа!	23
За рекою, у лесочка	24
Александр Скворцов	
Улыбка Белояниса	26
Учитель	26

Первые шаги	27
Тебе	27
Разлука	28
Ты идёшь немного горделиво	28
Яков Журавлёв	
Телевизор	29
Вечер в полевом стане	30
Весёлый бор	34
Сосенки	34
Ни пуха, ни пера	35
Белые лилии	35
Михаил Махров	
Рожь	37
Моя школа	37
И. Радишевский	
Подводные дела (Басня)	39
Юрий Шухов	
Первые сады	40
Комсомольск	40
Исследователи	41
Счетовод	41
Таёжная пристань	42
Андрей Лядов	
Мороз	43
В магазине	44
Проспект	45
Ошибка	46
Иван Измайловский	
Коньки	48
Елка	48
У реки, за школой	48
Подснежник	49
Иван Истомин	
Ильичу	50
Ямальское утро	50
Родная Обь	51
Весна рыбака	51
Песни мая	52
Охотник Ворна	52

II

Сергей Шibaев	
Отец	53
Борис Малочевский	
Пути-дороги	58
Андрей Дубицкий	
Степан Караганов	67
Владимир Полторакин	
Семья	81
Георгий Бирюсинский	
Бронзовая гаечка	95
Валентин Губин	
На лове	98

III

Б. Малочевский, Н. Почивалин, А. Шубин	
Русская тропинка (Драма)	105

IV

Т. Гончарова	
По зову партии	165



Художник Н. И. Сазонов

Редактор *М. К. Иоффе.*

Технический редактор *Н. В. Бисеров.*

Корректор *С. А. Зубкова.*

Подписано к набору 14/IX-1953 г.

Подписано к печати 20/XI-1953 г. ПД01458.

Инд. X-5. Тираж 5 000 экз. Цена 3 р. 55 к.

39 000 ип. знак в в п. л. 8,9 уч.-изд. л.

Бу а а 84×108¹/₃₂ = 2³/₄ б. л. — 9,02 п. л.

Адрес издательства: Омск, ул. Театральная, 6.

3 р. 55 к.

ОМСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО